



Evelyn Waugh Put Out More Flags

Annotation

Вымышленная история об английских военных силах.

- [Ивлин Во](#)
 - [ОТ АВТОРА](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [ЭПИЛОГ](#)
- [notes](#)
 - [note 1](#)

- [note 2](#)
- [note 3](#)
- [note 4](#)
- [note 5](#)
- [note 6](#)
- [note 7](#)
- [note 8](#)
- [note 9](#)
- [note 10](#)
- [note 11](#)
- [note 12](#)
- [note 13](#)
- [note 14](#)
- [note 15](#)
- [note 16](#)
- [note 17](#)
- [note 18](#)
- [note 19](#)
- [note 20](#)
- [note 21](#)
- [note 22](#)
- [note 23](#)
- [note 24](#)
- [note 25](#)
- [note 26](#)
- [note 27](#)
- [note 28](#)
- [note 29](#)
- [note 30](#)
- [note 31](#)
- [note 32](#)
- [note 33](#)
- [note 34](#)
- [note 35](#)
- [note 36](#)
- [note 37](#)
- [note 38](#)

- [note 39](#)
- [note 40](#)
- [note 41](#)
- [note 42](#)
- [note 43](#)
- [note 44](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Ивлин Во
Не жалејте флагов

ОТ АВТОРА

Военная операция, описанная в третьей главе, является всецело плодом воображения. Ни здесь, ни где либо в другом месте автор не выводит ни одну из реально существующих воинских частей в составе вооруженных сил Его Величества. Никто из персонажей не имеет прототипов в ныне здравствующих мужчинах и женщинах.

И. В.

Если ты захмелеешь на прощальной пирушке, сыграй что-нибудь – это укрепит твой дух. А если ты военный к тому же, вели подать еще вина и не жалея флагов – это умножит твою воинскую доблесть.

Китайский мудрец, процитированный Линь Ю-таном в книге «Как важно жить»

Малую несправедливость в сердце можно утопить в вине, великую несправедливость в мире можно утопить только в крови.

Из «Эпиграмм» Чжан Чао, процитированных Линь Ю-таном в книге «Как важно жить»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Накануне второй мировой войны – всю ту неделю догадок и опасений, которую лишь с иронией можно назвать последней неделей мира, – и в то самое воскресное утро, когда все сомненья наконец разрешились и все иллюзии развеялись, три богатые женщины только и думали, что о Безиле Силе. Это были его сестра, его мать и его любовница.

Барбара Сотилл была в Мэлфри; за последние годы она редко, лишь поскольку позволяли обстоятельства, думала о брате, но в то историческое сентябрьское утро он вытеснил из ее головы все прочие заботы. Она шла в деревню.

Они с Фредди только что прослушали выступление премьера по радио. «Мы сражаемся против зла», – сказал он, и когда она оставила позади дом, где, за малыми исключениями, прошли восемь лет ее замужества, у нее было такое ощущение, будто вызов брошен лично ей, лично ей угрожает опасность, словно безмятежное осеннее небо уже затмилось от кружащего в нем роя врагов и их тень нагло легла на залитые солнцем лужайки.

Что-то сладострастно-женственное было в красоте Мэлфри, другие прекрасные усадьбы могли иметь вид девственно-скромный или мужественно-дерзкий, Мэлфри же нечего было таить от неба; основанная больше двухсот лет назад, в дни побед и парадной шумихи, она лежала раскинувшись, дыша покоем и негой, великолепная, беззащитная, искусительная, – Клеопатра среди усадеб. Там, за морем, чувствовала Барбара, мелкий, завистливый ум, ум злобно аскетический, – порождение хвойных деревьев, – замышлял погибель ее дому. А ведь только из-за Мэлфри она любила своего прозаичного, несколько несуразного мужа, только из-за Мэлфри отреклась от Безила, а с ним вместе и от какой-то частицы своего существа, которая зачахла, отмерла в увядании души, неизбежно сопутствующем всякому плодотворному браку.

До деревни было полмили по липовой аллее. Барбара шла пешком, потому что, только она стала садиться в машину, Фредди остановил ее, сказав:

– Бензина на пустые разъезды не будет.

Фредди был в форме и чувствовал себя ужасно неудобно в брюках десятилетней давности. Он еще вчера должен был явиться в штаб своей йоменской части и целых два вечера собирал свое обмундирование и снаряжение, которое за два года, прошедших со времени последних учений, надевалось кем попало при разыгрывании шарад и на пикники и валялось по всему дому в самых невероятных местах. Особенно много хлопот доставил пистолет. Фредди поднял на поиски весь дом и брюзжал не переставая: «Все это очень хорошо, но меня могут судить военным судом», пока няня не нашла пистолет в игрушечном буфете. Сейчас Барбара отправлялась на розыски бинокля, который, как ей смутно помнилось, она одолжила начальнику местных бойскаутов Дорога под липами вела прямо к деревне; парковые ворота тонкой кузнечной работы, подвешенные на облицованных рустом каменных опорах, и две сторожки при них выходили прямо на зеленую площадь деревни; напротив стояла церковь, а по бокам от нее две гостиницы, дом священника, лавка и ряды серых домов; на грубо прямоугольной травянистой лужайке посередине росли три массивных каштана. Деревня по праву, хоть и не желая того, слыла замечательным по красоте местом и за последнее время слишком часто посещалась пешими туристами, но пока что была избавлена от прогулочных автомобилей, для чего Фредди пришлось пустить в ход все свое влияние у местных властей; лишь три раза в день, по будням, а во вторник, когда в городке по соседству собирался базар, – четыре, здесь останавливался автобус, и для удобства пассажиров Фредди поставил в этом году дубовую скамью под каштанами.

Здесь, в этом месте, ход мыслей Барбары был прерван необычным зрелищем – на лужайке перед гостиницей «Сотилл-Армс» понуро сидели в ряд шестеро женщин и не отрываясь смотрели на ее закрытые двери. В первое мгновенье Барбара была озадачена, затем вспомнила. Это женщины из Бирмингема. В пятницу поздно вечером в Мэлфри прибыло пятьдесят семейств, изнывающих от жажды и жары, ошалевших и раздраженных после целого дня пути в поезде и

на автобусе. Барбара взяла на себя пять самых неблагополучных семей, остальных разместила в деревне и на окрестных фермах. А на следующий день ее старшая горничная, служившая еще старому режиму в лице покойной миссис Сотилл, подала уведомление об уходе.

– Просто не представляю, как мы будем обходиться без вас, – сказала Барбара.

– Я это из-за ног, мадам. Силы у меня уже не те. Я еще кое-как справлялась прежде, но теперь, когда в доме полно детей...

– Видите ли, в военное время не приходится ожидать, что нам будет легко. В военное время приходится идти на жертвы. Это наша работа на победу.

Однако горничная стояла на своем.

– У меня в Бристоле замужняя сестра, – сказала она. – Ее муж был в запасе. Теперь его призвали, и я должна помогать ей.

Час спустя явились три другие служанки с чопорным выражением на лицах.

– Мы с Оливией и Эдит все обговорили и решили: пойдем строить самолеты. Говорят, у Брейкмора набирают девушек.

– А вы знаете, как там трудно?

– Ах, мадам, при чем тут трудности. Все эти бирмингемки. Во что они превращают комнаты.

– Это только на первых порах, пока они еще не освоились. Мы должны помогать им по мере сил. Как только они устроятся и привыкнут к нашим порядкам... – Но, еще не докончив фразы, она увидела всю безнадежность уговоров.

– Говорят, Брейкмору нужны девушки, – твердили служанки.

Мистрис Элфипстон, на кухне, хранила верность.

– Только я не могу отвечать за девушек, – сказала она. – Похоже, они думают, что война хороший повод для баловства.

Ну понятно, ведь работы-то на кухне прибавилось не ей, а ее помощницам, думала Барбара.

Сидевшие на лужайке женщины не были ее подопечными, но, видя на их лицах то же выражение вызова и разочарования, Барбара, вопреки благоразумию, из одного только чувства долга, подошла и спросила, хорошо ли они устроились. Она обращалась ко всем сразу, и потому ни одна не решалась отвечать; избегая ее взгляда, они хмуро

смотрели на закрытую гостиницу. «Ах ты господи, – решила Барбара, – ну конечно, они подумали, мне-то какое дело».

– Я живу вон там, – сказала она, показывая на ворота парка. – Это я размещаю вас по квартирам.

– Ах вот вы кто, – сказала одна из женщин. – Тогда, может, вы скажете нам, долго нам придется тут жить?

– Верно, – подхватила другая.

– Видите ли, – ответила Барбара, – у меня такое впечатление, что никто еще как следует не задумывался над этим. Там, в Бирмингеме, думали только о том, чтобы вывезти вас.

– Они не имели права так поступать, – сказала первая женщина. – Вы не можете насильно удерживать нас здесь.

– Но ведь вы, конечно, не хотите, чтобы ваши дети жили под бомбами.

– Мы не хотим оставаться там, где нам не рады.

– Верно, – поддакнула вторая.

– Ну что вы! Мы рады принять вас у себя, можете не сомневаться.

– Да, рады, как кошка собаке.

– Верно.

Барбара несколько минут увещевала беженок, но добила лишь того, что ненависть, предназначавшаяся Гитлеру, обратилась на нее. Поняв это, она пошла дальше. Дома у начальника бойскаутов, прежде чем получить обратно бинокль, ей пришлось выслушать рассказ о подселенной к нему школьной учительнице из Бирмингема, которая отказывалась помогать мыть посуду.

Когда она пересекала лужайку на обратном пути, женщины не глядели в ее сторону.

– Ну, а дети-то ваши хоть играют? – спросила она, решительно не желая допускать, чтобы перед ней задирали нос в ее собственной деревне.

– Они в школе. В игры-то играть их учитель заставляет.

– Имейте в виду, парк всегда открыт, если кому захочется туда пройти.

– У нас свой парк был. С оркестром по воскресеньям.

– Ну, оркестра-то я, пожалуй, не могу вам предложить, а в общем в парке ничего, особенно у озера. Приводите туда детей, если захочется, прошу вас.

Когда она ушла, заводила среди мамаш сказала:

– Да кто она такая? Поди, инспекторша какая-нибудь, с этакими-то ухватками. Это ж надо придумать – приглашать нас в парк! Будто он ее собственный.

Вскоре обе гостиницы распахнули свои двери, и на глазах шокированной деревни поток матерей из домов, с ферм и из особняка устремился в их питейные отделения.

За вторым завтраком Фредди решился и прямо из столовой поднялся наверх и переделался в штатское.

– Надеюсь, горничная простит мне вольность хотя бы в одежде, – сказал он тоном, в каком обычно шутил. За восемь безоблачных лет, прожитых с ним, Барбара научилась понимать такого рода шутки.

Фредди был крупен фигурой, мужествен, преждевременно лыс и поверхностно жизнерадостен; мизантроп в глубине души, он был наделен тем хитрым, острым инстинктом самосохранения, который сходит у богатых за ум; леность в сочетании со злобностью, составлявшей основную черту его натуры, обеспечивала ему уважение окружающих. Многие обманывались на его счет – многие, только не жена и ее близкие.

Он придавал своему лицу особое выражение не только, когда шутил; было у него такое и на случай, когда приходилось обсуждать его шурина Безила. По замыслу оно призвано было передавать высокомерное неодобрение, подавляемое из уважения к Барбаре; на деле в нем сквозило угрюмство и сознание вины.

Отпрыски семейства Сил по каким-то скрытым от всех других причинам, всегда питали ко всем другим презрение. Фредди не любил Тони; он казался ему изнеженным и надменным, но Фредди все же был готов признать за ним некоторое превосходство; никто не сомневался, что Тони ждет блестящая карьера на дипломатическом поприще. Придет время, и все они будут гордиться им. А вот Безил с детства ставил всех в неловкое положение и давал повод к нареканиям. По чисто личным мотивам Фредди, может быть, и обрадовался бы паршивой овце в семействе Сил, человеку, о котором «стараяются не упоминать»; которому он, Фредди, время от времени мог бы подавать руку помощи, великодушно безвестный всем, кроме Барбары, про которого он, Фредди, мог бы даже утверждать, что видит в нем больше хорошо, чем все другие. Такой родственник мог бы в

немалой мере способствовать восстановлению поколебленного самоуважения Фредди. Однако, как он скоро убедился, познакомившись с Силами поближе, о Безиле вовсе не старались не упоминать, а как раз наоборот: он составлял предмет едва ли не половины всех их разговоров. В то время они всегда взхлеб обсуждали его последнее бесчинство, всегда прочили ему блестящий успех в незамедлительном будущем, всегда презрительно отвергали неодобрение всех других. Сам же Безил проницал Фредди тем безжалостным глазом, что и – Фредди это замечал – Барбара в пору его ухаживанья и первые годы их совместной жизни.

Ибо было у Барбары с Безилом смутительное сходство: она тоже была *farouche*^[1], хотя и на свой собственный, более мягкий, но оттого еще более убийственный лад, а обаяние, от которого у Фредди дух захватывало, прорывалось в Безиле в грубой стяжательской форме. Материнство и безмятежное великолепие Мэлфри изменили Барбару: дикий зверек в ней теперь лишь очень редко выходил на поверхность; но он все же сидел в своей норке, и время от времени Фредди замечал, как он выплывает оттуда после долгих отлучек – пара горящих глаз на извиве подземного хода, следящих за ним как за врагом.

Сама Барбара не строила никаких иллюзий насчет Безила. Годы разочарований и предательств убедили ее, вернее рассуждающую часть ее существа, что он человек никчемный. Они вместе играли в пиратов в детской, но время игр прошло. Теперь Безил играл в пиратов один. Она отпала от веры в него чуть ли не с соблюдением формальностей, и все же, подобно культу, который продолжает жить столетия спустя после того, как его мифы развенчаны, а источники веры замутнены, в ней глубоко сидело то изначальное благочестие, ныне едва различимое в гущице суеверий, которое и заставило ее вновь обратиться к Безилу в это утро, когда ее мир, казалось, закачался вокруг. Так в современном городе, постигнутом землетрясением, когда разверзаются мостовые, выпячиваются горбом канализационные трубы, и огромные здания дрожат и качаются, грозя рухнуть, джентльмены в котелках и опрятненьких, фабричного пошива костюмах, рожденные от поколений грамотеев и разумников, внезапно обращаются к магии первобытной чащи и складывают пальцы крестом, чтобы отвести от себя рушащуюся бетонную лавину.

За вторым завтраком Барбара трижды заговаривала о Безиле и теперь, прогуливаясь под руку с Фредди по террасе, сказала:

– Возможно, как раз этого он и ждал все эти годы.

– Кто? Чего ждал?

– Безил. Ждал войны.

– А!.. Ну, на мой взгляд, все мы отчасти... Да, вот что с садами делать? Наверное, кое-кому из наших людей можно бы выхлопотать освобождение от воинской повинности на том основании, что они заняты в сельском хозяйстве, только непорядочно как-то.

Фредди был в Мэлфри последний день, и ему не хотелось портить его разговорами о Безиле. Правда, его йоменский кавалерийский полк стоит в каких-нибудь десяти милях от дома. Правда и то, что скорее всего они еще очень долго не тронутся с места. Их недавно «механизировали». Это выражалось в том, что у них отобрали лошадей, хотя многие в глаза не видали танков. В течение ближайших месяцев он будет постоянно наведываться домой и снова уезжать в часть; он еще постреляет фазанов. Все же, хотя это и не было окончательное прощанье, ему казалось, что он вправе ожидать от Барбары большей чуткости.

– Не будь гадом, Фредди. – Она лягнула его по щиколотке: уже в самом начале их совместной жизни ей открылось, что Фредди любит, когда она ругается и лягается, оставаясь с ним наедине. – Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Безилу была нужна война. Он не создан для мира.

– Возможно. Странно только, как он до сих пор не попал в тюрьму. Будь он из другого сословия, он уже давно был бы там.

Барбара вдруг хмыкнула.

– Помнишь, как он уехал в Азанию, прихватив изумруды матери? Но, знаешь, этого ведь никогда бы не произошло, если бы нам пришлось защищаться, и он смог бы пойти воевать. Он ведь никогда не вылезал из драки.

– Ну, если сидеть в шикарном кабаке в Ла-Пасе и смотреть, как генералы стреляют друг друга, это ты называешь...

– А Испания?

– Ну и что? Журналистика и контрабанда оружия.

– Он всегда был солдат manque^[2].

– Ну, не шибко-то он старался стать солдатом. Болтался без дела, пока мы тут проходили подготовку в территориальных и йоменских частях.

– Уж так много вы там напроходили, дорогой.

– Будь таких, как мы, побольше, а таких, как Безил, поменьше, не было бы войны. Риббентроп поделом считает нас разложившейся нацией, ведь он только таких, как Безил, и видел там у себя, за границей. Не думаю, чтобы в армии Безил мог заняться чем-нибудь дельным. Ему тридцать шесть. Возможно, он мог бы пойти по линии цензуры. Ведь он как будто владеет кучей языков?

– Ну так знай, – сказала Барбара, – Безил нахватает полную грудь орденов, а вы со своей дурацкой йоменской частью по-прежнему будете торчать в захудалой гостинице и дожидаться танков!

На озере были утки, и Фредди мог сколько угодно говорить о них. Она повела его вниз по его излюбленным тропинкам. В готической беседке Фредди, в силу давней привычки, часто распалялся нежностью; так было и на этот раз. А она все время думала о Безиле. Она думала о нем образами книг о войне, которые ей довелось прочесть. Он представлялся ей Сигфридом Сассуном^[3], пехотным офицером, стоящим на рассвете в заплывшей грязью траншее с оружием в руках, посматривающим на ручные часы в ожидании начала атаки; он представлялся ей Комптоном Маккензи^[4], пауком, плетущим паутину балканских интриг, ведущим подкоп под монархию среди олив и мраморных статуй; он представлялся ей полковником Лоуренсом и Рупертом Бруком^[5].

Ублаготворенный, Фредди заговорил об охоте.

– Я не хочу приглашать никого из полка на начало сезона, – сказал он. – Но почему бы нам не пригласить несколько человек пощелкать тетеревов как-нибудь под рождество?

II

Леди Сил была у себя дома, в Лондоне. Она приняла меньше мер предосторожности на случай воздушных налетов, чем большинство ее друзей. Самая цепная из ее вещей – небольшая картина Карпаччо – была отослана на хранение в Мэлфри; миниатюры и лиможские

эмали пристроены в банк; севрский фарфор упакован в ящики и снесен в полуподвал. Во всем прочем ее гостиная осталась без изменений. Тяжелые старинные портьеры сами по себе не пропускали света и позволяли обойтись без неприглядных черных полос маскировочной бумаги.

Леди Сил сидела на изящном стуле розового дерева перед открытыми окнами на балкон и смотрела через сквер на город. Она только что прослушала речь премьер-министра. Дворецкий подошел к ней с другого конца комнаты.

– Прикажете унести приемник, миледи?

– Да, пожалуйста. Он говорил очень хорошо – просто прекрасно.

– Все это так печально, миледи.

– Печально для немцев, Андерсон.

В самом деле, думала леди Сил. Невилл Чемберлен говорил на удивление хорошо. Вообще-то он никогда ей особенно не нравился – ни он, ни его брат. Брат-то, пожалуй, чуточку посимпатичней, но все равно оба они мало приятные, серые личности. Однако нынче утром он выступал весьма похвально, должно быть, наконец в полной мере осознал свою ответственность. Надо бы пригласить его на завтрак. Только, наверное, он очень занят. Насколько помнится, в военное время самые неожиданные люди бывают заняты.

Ее воспоминания унеслись к той, другой войне, которая до сегодняшнего утра называлась просто «война». Из ее близких никто не воевал. Кристофер был уже стар, Тони еще молод. Ее брат Эдуард начал с командующего бригадой – в штабной академии его очень ценили, – но, непонятно почему, никакой карьеры у него так и не получилось, и к 1918 году он оставался все тем же бригадным генералом в Дар-эс-Саламе. Война принесла много печального. Столько друзей ходили в трауре, а Кристофер так изводился из-за коалиции *. Так горько было признать Ллойд Джорджа главой правительства, однако Кристофер как патриот пошел на эту жертву вместе со всеми; возможно, только ей одной и было известно, какой душевной борьбы это ему стоило. Но самое скверное время наступило после перемирия, когда дворянским званием торговали словно бакалеей, а из условий мира нагородили бог весть чего. Кристофер всегда говорил, что в конце концов за это придется платить.

Отвратительный, еще всем в новинку, вой сирен противозвушной обороны прозвучал над Лондоном.

– Это сигнал тревоги, миледи.

– Я знаю, Андерсон. Я слышала.

– Вы изволите спуститься вниз?

– Нет, во всяком случае, не сейчас. Собери слуг внизу присмотри, чтобы не было шума.

– Вам понадобится противогаз, миледи?

– Не думаю. Судя по тому, что говорит сэр Джозеф, опасность газовой атаки ничтожна. Во всяком случае, я лично считаю, что это всего-навсего учебная тревога. Оставь его на столе.

– Это все, миледи?

– Это все. Присмотри, чтобы девушки не волновались. Леди Сил подошла к выходу на балкон и посмотрела в ясное небо. Ничего, мы им еще покажем, пусть только сунутся, думала она. Этого типа пора проучить. Сколько уж лет он – Имеется в виду коалиционное министерство, возглавленное Ллойд Джорджем, куда вошли либералы, консерваторы и лейбористы, мутит воду. Раздумывая, она вернулась к стулу. Уж я-то никогда не носилась с этим вульгарным Риббентропом. Я его на порог не пускала, хоть эта умница Эмма Гранчестер и приставала ко всем, чтоб были с ним полюбезней. Ну так пусть вот теперь увидит, какая она была дура.

Леди Сил спокойно ждала начала бомбежки. Она сказала Андерсону, что это, вероятнее всего, просто учебная тревога. Людям следовало так сказать, чтобы не было паники, – Андерсон, конечно, не подведет, но вот девушки... Однако в глубине души леди Сил была уверена, что налет состоится; это было бы так похоже на немцев, которые всегда шумят, всегда грозятся и пыжятся доказать, что «они могут». Леди Сил «проходила» историю в школе; это был нехитрый рассказ об утверждении права перед лицом превосходящих сил зла, и перечень боевых подвигов ее страны: Креси, Азенкур, Кадис, Бленгейм, Гибралтар, Инкерман, Ипр – музыкой отдавался в ее ушах. Англия сражалась против многообразных врагов с многообразными союзниками, зачастую под весьма туманными предложениями, но всегда за правое дело, рыцарски, и в конечном счете побеждала. Часто в Париже леди Сил с гордостью думала о том, что ее народ не называет улицы именами своей бранной славы; это еще куда ни шло для

недолговечных триумфов французов, только и доказывающих их уменье воевать, но поставить те великие проявления божественной справедливости, какими были победы Англии, на потребу модисток и маникюрш в качестве почтовых адресов было бы низостью, до которой не опустились бы даже радикалы. Перед ее умственным взором, словно живые картины на благотворительном базаре, возникали гравюры на стали, висевшие у них в классе: Сидней^[6] в битве при Зютфене, Вольф^[7] в битве при Квебеке, Нельсон в Трафальгарском сражении (один только Веллингтон в битве при Ватерлоо был изъят из парада знаменитостей по причине близости Блюхера, который с чисто прусским настырством вылез вперед урвать себе толику славы, добытой другим), – и к этой сногшибательной ассамблее (в представлении леди Сил сродни тем толпищам богатых и респектабельных людей на лужайке штаб-квартиры Королевского яхт-клуба в Каусе, с которых делают групповые снимки, чтобы вывесить их потом в вестибюле или бильярдной с обозначением, где кто) была прибавлена в то утро новая и, прямо сказать, невозможная фигура – Безил Сил.

Прошлая война ей обошлась недорого, собственно говоря, не стоила ничего, кроме порядочного пакета иностранных акций и репутации ее брата Эдуарда как стратега. Теперь она может отдать стране сына, У Тони слабые глаза п карьера, Фредди ей не родной, да и нет в нем героической жилки, зато Безил, ее своенравный порочный Безил, так тяжко ее разочаровавший; Безил, чья необъяснимая тяга к дурному обществу за последние десять лет столько раз ставила его в щекотливое положение и чьи грехи молодости не шли ни в какое сравнение с грехами молодости его дядюшки Эдуарда; Безил, укравший ее изумруды и принесший печальную известность миссис Лин, – этот Безил, влившись со всеми странностями своей натуры в цвет мужества Англии, наконец-то вступает во владение своим наследием. Надо попросить Джо устроить ему офицерское звание в каком-нибудь полку поприличней.

Она все еще была погружена в раздумье, когда вой сирен возвестил отбой,

Сэр Джозеф Мейнуэринг завтракал в то утро у леди Сил. Они договорились еще в начале прошлой недели, не подозревая, что

выбранный пмп день будет особо отмечаться во всех календарях мира до окончания истории человечества. Он прибыл точно в назначенный час, как всегда, как прибывал бесчисленное число раз за долгие годы их дружбы.

Сэр Джозеф редко посещал церковь, если только не гостил в одном из исключительнейших, августейших домов, где этот обычай был еще в ходу; однако не было бы фантастическим преувеличением сказать, что в то воскресное утро он был воспламенен чем-то вроде религиозного благочестия. Правда, утверждать, что он духовно очистился, действительно было бы фантастично; просто в переживаниях утра было что-то деликатно очищающее, а во всей его манере необычайная прыгучесть, словно он по ошибке приложился к чужой бутылке со средством от похмелья. Вид у него был такой, будто он сбросил с плеч десяток лет.

Леди Сил удостаивала этого старого болвана глубокой личной приязнью, какой его не сильно баловали многочисленные друзья, и возлагала на него непостижимые упования самого, однако, неизменного свойства.

– Больше никого не будет, Джо, – сказала она, поздоровавшись. – Собирались прийти Гранчестеры, но ему пришлось бегать к королю.

– Бот и отлично. Теперь, как я полагаю, мы все будем снова заняты делом. Я, правда, еще не знаю толком, что именно на меня взвалит. Все выяснится завтра утром, когда я побываю на Даунинг-стрит. Вероятно, какую-нибудь работу в качестве советника при военном кабинете. Хорошо снова чувствовать себя в гуще событий, словно десяток лет с плеч сбросил. Волнительные времена, Синтия, волнительные времена.

– Я как раз хотела повидаться с Эммой Гранчестер по одному делу. Теперь, наверно, мы создадим столько всяких комитетов. В прошлую войну мы занимались бельгийскими беженцами. На этот раз, вероятно, придется заняться поляками. Очень жаль, что это народ, языка которого мы не знаем.

– Да, бельгийцев на этот раз не предвидится. Да и война будет во многих отношениях не та. Война на экономическое истощение – так я думаю. Разумеется, мы не можем обойтись без всех этих гражданских ПВО, убежищ и прочего. Радикалы спекулировали на этом вовсю. Но, я полагаю, можно быть уверенным в том, что никаких воздушных

налетов не будет, во всяком случае на Лондон. Возможно, немцы попытаются напасть с воздуха на портовые города, но не далее как вчера я имел в «Бифштексе» интересный разговор с Эдди Бест-Бингемом. Мы обладаем очень ценным изобретением, оно называется радиопеленгатор и дает возможность, отражать их удары.

– Джо, дорогой, у вас всегда в высшей степени утешительные сведения. Что это такое – радиопеленгатор?

– Я и сам толком не знаю. Все это строго секретно.

– У бедной Барбары в Мэлфри беженцы.

– Какой ужас! Милая, мечтательная Мэлфри! Подумать только: изысканный салон с отделкой Гринлинга Гиббонса^[8] будет отдан под школу-интернат! Это какая-то чепуха, Синтия. Вы знаете, я не склонен к скороспелым пророчествам, но, я думаю, одно мы можем принять за аксиому. Воздушных налетов не будет. Немцы никогда не посягнут на линию Мажино. Французы, если понадобится, будут держаться вечно. Воздушные базы немцев расположены слишком далеко, они не смогут на нас напасть. А если нападут, мы их этого... того... зарадиопеленгируем.

– Джо, – сказала леди Сил, когда они остались одни за кофе, – я хочу поговорить с вами относительно Безила.

Как часто за последние двадцать лет сэру Джозефу приходилось слышать эти тягостные слова, произносимые с самыми различными интонациями в самом широком спектре настроений, но всегда, при всех обстоятельствах предвещающие не то чтобы скуку, но, во всяком случае, некоторое умаление занятости и теплоты их беседований. Ибо лишь на этих материнских конференциях Синтия Сил оставляла желать лучшего как друг, лишь на них, вместо того чтобы давать, она как бы требовала умеренной mzды за богатый дар своей дружбы.

Обладай сэр Джозеф соответствующим складом ума, он мог бы начертить график частоты и интенсивности подобного рода бесед. Начиная с детской комнаты, кривая неуклонно шла вверх через все школьные годы вплоть до университета – это было время, когда сэра Джозефа призывали восторгаться каждой новой фазой скороспелого развития Безила. В те годы он принимал Безила по номиналу и считал его исключительно одаренным, красивым молодым человеком, которого могут испортить. Затем, к концу второго года пребывания Безила в Бейлиол-колледже, последовал ряд мелких сейсмических

потрясений – это было время, когда Синтия Сил поочередно впадала то в безмолвное замешательство, то в многоречивое расстройство; затем первая катастрофа, и тотчас же вслед за ней смерть Кристофера. С тех пор кривая то ныряла, то головокружительно шла вверх, соответственно тому, возносила ли молва бесчинства Безила на свой гребень или низвергала их в свои хляби, однако с течением лет в среднем уровне этой кривой наблюдался отрадный спад; в последний раз сэр Джозеф слышал о Безиле по меньшей мере полгода назад.

– А!.. – сказал он, пытаясь угадать по тону хозяйки, что от него требуется – рассудительность, сочувствие или готовность к поздравлениям. – Так что же Безил?

– В прошлом вы так часто мне помогали.

– Старался как мог, – сказал сэр Джозеф, мгновенно вспомнив длинный ряд своих провалившихся попыток что-нибудь сделать для Безила. – В мальчике масса добрых задатков.

– С нынешнего утра я намного спокойнее за него, Джо. Последнее время я порой начинала сомневаться, удастся ли нам вообще найти для него то, что нужно. Он столько всего перепробовал и всегда был не на своем месте. Так вот, война, мне кажется, снимет с нас эту ответственность. В военное время для всякого найдется место – для всякого человека. Безила всегда подводила его индивидуальность. Вы часто говорили мне это, Джо. Ну, а в военное время индивидуальность не в счет. В военное время мы все просто люди, не так ли?

– Да, – с сомнением произнес сэр Джозеф. – Да. В Безиле всегда было сильно, как бы это сказать? Индивидуальное начало, вот. Сейчас ему тридцать пять или тридцать шесть? Не совсем тот возраст, как бы это сказать, э-э... чтобы начинать солдатом.

– Ерунда, Джо. В прошлую войну мужчины сорока пяти и даже пятидесяти лет добровольно записывались в рядовые и умирали не менее доблестно, чем все прочие. Так вот, я хочу, чтобы вы поговорили с подполковниками из гвардейской пехоты, куда он лучше подойдет...

Синтия Сил уже не в первый раз обращалась к нему с немислимыми ходатайствами за Безила. То, о чем она с такой легкостью просила сейчас, было для сэра Джозефа одним из самых тягостных поручений. Но он был старый, преданный друг и человек

дела; больше того, подвизаясь всю свою жизнь на поприще служения обществу, он изрядно поднаторел в искусстве манкирования долгом – Разумеется, дорогая Синтия, я не могу ручаться за результаты....

III

Анджела Лин возвращалась поездом с юга Франции. В эту пору она обычно отправлялась в Венецию, однако в нынешнем году, когда международное положение нудно лезло всем на язык, она оставалась в Каннах до последнего – и даже сверх последнего – момента. Французы и итальянцы, с которыми она виделась, говорили, что войны просто не может быть; они с уверенностью утверждали это до пакта с Россией и с удвоенной уверенностью после. Англичане говорили, что война будет, но не так скоро. Одни только американцы знали, каких событий следует ожидать и когда именно. И вот теперь она с необычными неудобствами проезжала через страну, которая вступала в войну под суровыми лозунгами: «Il faut en finir»^[9] и «Nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts»^[10].

Это было утомительное путешествие; поезд опаздывал уже на восемь часов; вагон-ресторан исчез во время ночной стоянки в Авиньоне. Анджеле приходилось делить двухместное купе со своей служанкой, и она еще считала, что ей повезло; несколько ее знакомых вообще застряли в Каннах с единственной надеждой на то, что обстановка улучшится: в данный момент французы не гарантировали получение билетов по предварительным заказам и на время военных действий словно спрятали всю свою вежливость в карман.

На столике перед Анжелой стоял стакан виши. Прихлебывая воду, она смотрела в окно на пробегающий ландшафт, каждая миля которого являла все новые признаки перемен в жизни страны; голод и бессонная ночь как бы чуть приподняли ее над реальностью, и ее ум, обычно быстрый и методичный, работал теперь в ритме поезда, который то уторапливал ход, то полз еле-еле, словно ощупью нашаривая путь от станции к станции.

Посторонний человек, пройдя мимо открытой двери купе и задавшись вопросом о ее национальности и месте в мире, легко мог бы подумать, что перед ним американка, быть может, закупщица от какого-нибудь большого магазина готового платья в Нью-Йорке, а

рассеянность ее следует отнести за счет тягот доставки ее «ассортимента» в военное время. На ней был в высшей степени модный наряд, предназначенный, однако, скорее для того, чтобы уведомлять, а не привлекать: ничто из ее туалета, ничто, как можно было предположить, и из содержимого обтянутого в свиную кожу футляра для драгоценностей над ее головой не было выбрано мужчиной или для мужчины. Ее элегантность была сугубо индивидуальна; Анджела решительно не принадлежала к числу тех, кто с руками рвет новейшую безделушку в те немногие недели ажиотажа, что проходят между ее появлением на прилавке и наводнением мировых рынков дешевыми подделками под нее; ее внешность была летописью, которую, если можно так выразиться, из года в год вела в укор веяньям моды одна и та же четкая, характерная рука. Но погляди любопытствующий подольше – а он мог бы сколько угодно разглядывать ее без риска оскорбить, так глубоко ушла Анджела в раздумье, – его пытливости был бы поставлен предел, когда он дошел бы до лица избранного им объекта. Все атрибуты Анджелы: груды багажа, наваленные у нее над головой и вокруг, ее прическа, туфли и ногти, едва уловимая атмосфера духов, окружавшая ее, стакан с виши и томик Бальзака в бумажном переплете, лежащий на столике перед ней, – все это говорило о том, что (будь она американкой, какой казалась с виду) она назвала бы своей «индивидуальностью». Однако лицо ее было безгласно. Гладкое, холодное, огражденное от всего человеческого, оно было словно вырезано из яшмы. Посторонний мог бы наблюдать ее на протяжении многих миль пути – так шпион, любовник или газетный репортер могут околачиваться на панели перед запертым домом и не уловить ни отблеска, ни единого шелоха за прикрытыми ставнями – и уйти восвояси по проходу, в смятении и замешательстве, прямо пропорциональных его пронизательности. А если бы ему рассказали факты, одни только факты об этой внешне бесстрастной, сухой, высокоинтеллигентной женщине без явных примет национальности, он бы заклился впредь составлять мнение о своем ближнем. Ибо Анджела Лин была шотландкой, единственной дочерью миллионера из Глазго – жизнерадостного жулика-миллионера, взявшего жизненный разбег в уличной шайке; она была женой дилетантствующего архитектора и матерью единственного

малосимпатичного здоровяка сына – по общему признанию, вылитой копии дедушки, – а страсть до такой степени губила ее жизнь, что друзья отзывались об этой купающейся в золоте избраннице счастья не иначе как с сожалительным эпитетом «бедная»: бедная Анджела Лин.

Лишь в одном случайный наблюдатель попал бы в точку: внешность Анджелы не предназначалась для мужчин. Иногда спорят – и даже затевают опросы в популярных газетах – о том, станет ли женщина заниматься своим туалетом на необитаемом острове; Анджела для себя лично решила этот вопрос раз и навсегда. Вот уже семь лет она жила на необитаемом острове, и ее внешность стала для нее коньком и развлечением, занятием, всецело продиктованным самоуважением и вознаграждающим само по себе; она изучала себя в зеркалах цивилизованного мира с тем вниманием, с каким узник наблюдает проделки выдрессированной в темнице крысы. (Мужу ее вместо моды служили гроты. Их было у него шесть, купленных в разных местах Европы, одни под Неаполем, другие в Южной Германии, и с превеликими трудами, по камешку, доставленных в Гэмпшир.) Вот уже семь лет, – ей было тогда двадцать пять, а ее замужеству с денди-эстетом два года, – как «бедная» Анджела была влюблена в Безила Сила. Это была одна из тех интриг, которые завязываются беспечно в надежде на приключение и столь же беспечно воспринимаются друзьями, как занятный скандал, а затем, будто окаменев под взглядом Горгоны, приобретают невыносимое постоянство, как если бы миру, полному капризных и эфемерных союзов, иронические богини судьбы решили дать непреходящий, устрашающий образчик естественных качеств мужчины и женщины, изначально присущей им склонности к слиянию воедино, и он действовал как наклейка «Опасно!» на коробке с химикалиями, как предостережение в виде разбитых автомобилей, которые ставят на опасных поворотах дороги, так что даже наименее склонные к порицанию натуры содрогались от этого зрелища и отшатывались со словами: «Нет, право, знаете ли, это уж у них что-то омерзительное».

Друзья обычно называли их связь «патологической», разумея под этим, что чувственность играла в ней самую малую роль, поскольку Безила привлекали лишь очень глупые девушки, и узы, приковывавшие его к Анджеле, были совсем иного рода.

Седрик Лин, безутешный, корпая в своих барочных одиночествах и с ужасом взирая на развитие буяна сына, говорил себе, будучи не слишком проникательным, что такая страсть ненадолго. А Анджеле казалось, что ей нет надежды на избавление. Ничто, кроме смерти, не может разлучить их, думала она с отчаяньем. Даже вкус виши наводил ее на мысли о Безиле, и она вспоминала бесчисленные за эти семь лет ночи, которые она просиживала с ним; он напивался пьяным, и его речи становились все сумасбродней и сумасбродней, а она, прихлебывая воду, ждала своей очереди нанести суровый и беспощадный удар по его тщеславию, и так до тех пор, пока он, пьянея все больше, становился выше ее нападков, заговаривал ее вконец и уходил с напыщенным видом.

Она повернулась к окну, когда поезд сбавил ход до скорости пешехода, один за другим минувя грузовики с солдатами. «Il faut en finir», «Nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts». Крутой народ эти французы. Две ночи назад, в Каннах, какой-то американец рассказывал, как в прошлую войну в мятежных частях казнили каждого десятого. «Жаль, что на сей раз у них нет командующего вроде старого Петэна», – сказал он.

Ее вилла в Каннах закрыта, ключ сдан на хранение садовнику. Может статься, ей уже не суждено больше вернуться туда. В этом году она вспоминала о ней только как о месте, где напрасно прождала Безила. Он прислал телеграмму: «Международное положение не располагает к увеселительным поездкам». Она выслала ему денег на дорогу, но ответа не получила. Садовник, должно быть, хорошо заработает на овощах. Да, крутой народ эти французы. А почему, собственно, принято считать, что крутой – это хорошо? – спросила себя Анджела. Она терпеть не могла крутых яиц, даже на пикниках в заповеднике. Крутые. Переваренные. Перехваленные за их варева. Когда заявляют о любви к Франции, имеют в виду любовь к еде; древние считали утробуместилищем всех глубоких чувств. Проезжая на пакетботе через Ла-Манш, она слышала, как один коммивояжер радовался Дувру и английской еде: «У меня эта французская мешанина поперек горла становится». Банальное нарекание, размышляла Анджела, так говорят и обо всей французской культуре двух последних поколений... «Мешанина», затхлые ингредиенты из Испании, Америки, России и Германии,

замаскированные соусом из белого алжирского вина. Франция умерла вместе с монархией. Теперь нельзя даже поесть хорошо, разве что в провинции. Еда, всюду еда. «Поедом есть...» Безил уверял, что однажды в Африке съел девушку; теперь вот уже семь лет как он ест Анджелу. Как тот лисенок спартанского мальчика... Спартанцы при Фермопилах расчесывали волосы перед битвой; этого Анджела никак не могла понять, ведь Алкивиад коротко остригся, чтобы угодить народу. Интересно, что же все-таки думали спартанцы о волосах? Безилу придется постричься, когда он уйдет в армию. Афинянину Безилу придется сидеть за общими трапезами спартанцев, с выстриженной до синевы шеей, которую прежде прикрывали темные волосы, неопрятно спадавшие на воротник. Безил в Фермопильском ущелье...

Вернулась ее служанка, она болтала с проводником.

– Он говорит, что спальные вагоны навряд ли пойдут дальше Дижона. Нам придется пересест в сидячий вагон. Ну не безобразие ли это, мадам, ведь мы же платили!

– Видишь ли, сейчас война. Теперь, наверное, со многим придется мириться.

– Мистер Сил уйдет в армию?

– Я бы этому не удивилась.

– Он будет совсем иначе выглядеть, правда, мадам?

– Совсем иначе.

Они замолчали, и в этом молчании Анджела чутьем, исключавшим всякое сомнение, в точности угадывала то, о чем думает служанка. Та думала: «Если бы мистера Сила убили... Право, это наилучший выход для всех...»

...Греки Флакмена^[11], поникшие в позах смерти среди Фермопильских скал; изрешеченные пугала, распяленные на колючей проволоке ничейной земли... Пока не разлучит нас смерть... Эта связующая мысль, словно сторожевые дозоры вдоль линии фронта, то появлялась, то исчезала монотонно среди фраз и ассоциаций, беспорядочно толпившихся в сознании Анджелы. Смерть. «Смерть-избавительница» гравюр на дереве шестнадцатого века, освобождающая пленников, омывающая рапы павших; Смерть в сюртуке и бакенбардах, благоразумный гробовщик, накидывающий свой черный саван на все неприглядно гниющее; Смерть – мрачная

любовница, в чьих объятиях забывается вся земная любовь; Смерть Безилу, чтобы Анджеला Лин вновь могла жить... Вот о чем она размышляла, прихлебывая виши, но никто, глядя на спокойно задумчивую маску ее лица, не догадался бы об этом.

IV

Руперт Брук, Старый Билл^[12], Известный Солдат – таким был Безил в представлении трех любящих женщин, но Безил, поздно вставший и завтракающий в мастерской Пупки Грин, решительно выпадал из рамок этих идеальных образов. Он был не в лучшей форме в то утро, и тому были две причины:

сильные возлияния с друзьями Пупки накануне и потеря престижа у Пупки как результат собственных усилий обосновать свою уверенность в том, что войны не будет. Так говорил он накануне вечером и подавал это не в виде предположения, а в виде факта, известного лишь ему и пяти-шести главным немецким заправилам; прусская военная клика, сказал он, позволит нацистам блефовать лишь до тех пор, пока их как следует не осадят: он слышал это, сказал он, лично от самого фон Фрича^[13]. Армия сломала хребет нацистской партии в июльской чистке 1936 года; Гитлера, Геринга, Геббельса и Риббентропа терпят в качестве марионеток, лишь пока это целесообразно.

Армия, подобно всем армиям, настроена крайне миролюбиво; как только станет ясно, что Гитлер взял курс на войну, его пристрелят. Безил не единожды, а много раз распространялся на эту тему за столиком ресторана на Шарлот-стрит, и, поскольку друзья Пупки не знали Безила и не были избалованы знакомствами с людьми, имевшими связи среди сильных мира, Пупке также перепало от оказанного ему почета. Безил, не привыкший к тому, чтобы его слушали с уважением, тем более возмущался, когда его шпыняли его же собственными словами.

– Ну, – сердито говорила Пупка, стоя у газовой плиты, – когда армия вмешается и пристрелит Гитлера?

Она была исключительно глупая девица, а потому немедленно завладела вниманием Безила, когда они познакомились у Эмброуза Силка три недели назад. С нею Безил и провел то время, которое

обещал провести с Анджелой в Каннах, и на нее же истратил те двадцать фунтов, которые Анджела прислала ему на дорожные расходы. Даже сейчас, когда все ее скудоумное личико надулось в насмешливую гримаску, она будила самые нежные чувства в сердце Безила.

Свидетельства ее глупости были бессчетно запечатлены в оконченных и неоконченных картинах, которыми была заставлена мастерская. Восемьдесят лет назад она писала бы рыцарей в доспехах и горящих дам с монашеским платом на плечах; пятьдесят лет назад «ноктюрны»; двадцать лет назад Пьеро и ивы; сейчас, в 1939 году, это были головы без туловищ, зеленые лошади и фиолетовая трава, морские водоросли, раковины и грибы, чистенько выписанные, прилежно скомпонованные в манере Дали. Картина, над которой она теперь трудилась, была непомерно увеличенная, тщательно исполненная голова Венеры Милосской, лютикового цвета, парящая на фоне черно-белых драже и лимонных карамелек. «Господи боже, – заметил по этому поводу Эмброуз Силк, – прямо-таки слышишь, как скрипит ее воображение, когда она их делает, скрипит как пара старых-престарых корсетов на какой-нибудь старой карге».

– Они разгромят Лондон. Что я буду делать? – сетовала Пупка. – Куда пойду? Это конец моей карьеры. Ах, как бы мне хотелось – уехать следом за Парснипом и Пимпернеллом. (Это были два великих поэта из ее окружения, недавно сбежавших в Нью-Йорк.) – Пересечь Атлантику куда опаснее, чем оставаться в Лондоне, – сказал Безил. – Воздушных налетов на Лондон не будет...

– Не говори так, ради всего святого. – Тут как раз завывли сирены. Пупка оцепенела от страха. – О господи, – сказала она. – Вот видишь. Они прилетели.

– Безупречный расчет времени, – жизнерадостно сообщил Безил. – Это Гитлер всегда умел.

Пупка начала лихорадочно одеваться, осыпая Безила бесплодными упреками.

– Ты сказал, что войны не будет. Ты сказал, что бомбардировщики никогда не прилетят. Теперь нас всех убьют, а ты все сидишь и говоришь, говоришь.

– А знаешь, на мой взгляд, воздушный налет просто находка для сюрреалиста. Представляешь, какое множество композиций? Части

тела, предметы, все разбросано как попало.

– Зачем только я тебя встретила! Зачем не ходила в церковь! Меня воспитывали в монастыре. Я же хотела стать монахиней. Как бы я хотела быть монахиней. Меня убьют. Ах, зачем я не стала монахиней! Где мой противогаз? Я с ума сойду, если не найду противогаза.

Безил откинулся на спинку дивана и как замороженный созерцал Пупку Грин. Ему нравилось, когда женщины вели себя так в минуты тревоги. Вид женщины в неприглядном положении всегда доставлял ему удовольствие. Так, в сезон поспевания спаржи он мог любоваться натекшим на подбородок женщины маслом, – пятном на ее красоте, делающим из нее посмешище, в то время как она говорит, и улыбается, и поворачивает голову, не подозревая о том, какой у нее вид.

– Прежде всего ты должна решить, чего ты боишься, – вразумлял он ее. – Если ты считаешь, что на тебя будут сбрасывать фугаски, надо бежать вниз в убежище. А если считаешь на газовую атаку, закрой верхний свет и никуда не уходи. Я бы, во всяком случае, не стал так волноваться из-за какого-то противогаза. Уж если они что применяют, так это мышьяковый дым, и противогаз тут не поможет. На первых порах мышьяковый дым не дает никаких болезненных ощущений. Дня два ты даже не будешь знать, что тебя отравили. Ну, а там уж будет поздно. Собственно говоря, насколько я могу судить, как раз сейчас нас и обрабатывают газом. Если они летят достаточно высоко, они могут просто пустить газ по ветру за двадцать миль от города. Симптомы, когда они появляются, прямо надо сказать, отвратительны...

Но Пупки уже не было в комнате. Она сломя голову бежала вниз по лестнице, тихонько вскрикивая на каждом шагу.

Безил оделся, пририсовал Венере рыжеватые усы и вышел на улицу.

Обычно малолюдный по воскресеньям, в то утро Южный Кенсингтон был и вовсе пуст из-за страха перед налетами. Какой-то мужчина в жестяной каске крикнул Безилу с другой стороны улицы:

– Эй вы, укройтесь в убежище! Да, да, это я вам говорю. Безил подошел к нему и тихо сказал:

– ВР-тринадцать.

– Что такое?

– ВР-тринадцать.

– Я что-то никак не допру...

– Вы обязаны допереть, – сурово произнес Безил. – Надеюсь, вы понимаете, что сотрудники ВР-тринадцать имеют право ходить где угодно и когда угодно?

– Да, конечно, виноват! – ответил человек в каске. – Я в ПВО только со вчерашнего дня. Два налета подряд – просто блеск! – Не успел он это проговорить, как сирены дали отбой. – Ах, так это просто розыгрыш! – воскликнул он.

Этот тип слишком жизнерадостен для служебного лица в первые часы войны, решил Безил. Жупел газовой атаки не произвел на Пупку достаточного впечатления: она едва слушала от страха; пожалуй, стоит испытать его на более восприимчивом слушателе.

– Не вешайте носа! – сказал Безил. – Возможно, в эту самую минуту вы вдыхаете мышьяковый газ. Следите за своей мочой ближайшие дни.

– Ни хрена себе! Как, бишь, вы сказали, вас зовут?

– ВР-тринадцать.

– А вы что, занимаетесь газом?

– Мы занимаемся всем. Бывайте здоровы. Он повернулся и пошел, но человек в каске следовал за ним по пятам.

– А мы его учуем или как?

– Нет.

– Ну там будем кашлять или что-нибудь в таком роде?

– Нет.

– И вы думаете, они сбросили его прямо вот в эту минуту и улетели, а мы теперь кандидаты в покойники?

– Дорогой мой, я ничего не думаю. Ваш долг уполномоченного ПВО – все разузнать.

– Ни хрена себе!

Будешь знать, как кричать на меня на улице, подумал Безил.

После отбоя в мастерской Пупки Грин собрались ее друзья-приятели.

– Я ни капельки не испугался. Я так удивился собственной храбрости, что у меня голова кругом пошла.

– Я тоже не испугался, только настроился на мрачный лад.

– А я так просто обрадовался. В конце концов все мы вот уж сколько лет говорили, что существующий строй обречен, правда? Я хочу сказать, для нас выбор всегда был: либо в концентрационный лагерь, либо взлететь на воздух. Я просто сидел и думал: уж лучше взлететь на воздух, чем быть забитым насмерть резиновыми дубинками.

– А я испугалась, – сказала Пупка.

– У вас всегда самые здоровые реакции, дорогая. Право, Эрчман сотворил с вами чудеса.

– Ну, не уверена, что на этот раз мои реакции были такие уж здоровые. Я поймала себя на том, что я молюсь.

– Не может быть! Вот это уж никуда не годится.

– Вам лучше снова наведаться к Эрчману.

– Если только он не в концлагере.

– Все там будем.

– Если кто-нибудь упомянет еще хоть раз о концлагерях, – сказал Эмброуз Силк, – я откровенно взбешусь. («У него была несчастливая любовь в Мюнхене, – пояснил один из друзей Пупки другому, – там докопались, что он наполовину еврей, и молодца в коричневой рубашке упекли».) Давайте смотреть картины Пупки и забудем про войну. Так вот, это, – сказал он, останавливаясь перед Венерой, – это, на мой взгляд, хорошо. Да, Пупка, на мой взгляд, это хорошо. Усы... Это говорит о том, что вы перешли некий художнический Рубикон и чувствуете себя достаточно сильной, чтобы шутить. Это вроде тех чудесных анекдотов с бородой в книге Парснипа «Снова в Гернике». Ты растешь, Пупка, дорогая моя.

– А вдруг это влияние ее старого проходимца...

– Бедный Безил, быть *enfant terrible*^[14] в тридцать шесть лет уже само по себе довольно печально, но выглядеть к тому же в глазах младшего поколения неким одряхлевшим Бульдогом Драммондом...

^[15] Эмброуз Силк был старше Пупки и ее друзей; собственно говоря, он был сверстником Безила, с которым поддерживал призрачное, полное взаимной насмешки знакомство с последнего курса университета. В ту пору в Оксфорде середины 20-х годов, когда последний из бывших фронтовиков уже покинул его стены, а первый из озабоченных политикой пуритан либо еще не основался там, либо ничем не заявил себя, – в ту пору широких брюк, джемперов с

высокими воротниками и автомобилей, стоявших ночью в Тейме у «Орла», люди еще почти не подразделялись на группы и группки, и своего рода духовной изощренности в погоне за наслаждениями было достаточно, чтобы связать двух друзей, которых в последующие годы далеко – так, что оклика не слышать, – отнесло друг от друга волнами иных, более широких морей. Эмброуз в те дни участвовал смехотворно-бесславно в скачках с препятствиями, устраиваемых колледжем Христовой церкви, а Питер Пастмастер явился в танцзал в Рединге в женском наряде. Аластэр Дигби-Вейн-Трампингтон, хоть и был углублен в примитивные эксперименты, имевшие целью выяснить, как далеко готова зайти с ним та или иная похотливая девица, только что выпорхнувшая в свет, все же находил время выбраться в Миклем, где, прихлебывая портвейн, без всякого порицания выслушивал подробные рассказы Эмброуза о безответной любви к студенту-ребцу. Теперь Эмброуз редко виделся со старыми друзьями, за исключением Безила. Эмброуз вообразил, что все его бросили, и порою, когда его заедало тщеславие и налицо была соответствующая аудитория, выставлял себя мучеником искусства, человеком, не пошедшим ни на какие уступки Мамоне. «Я не во всем с вами согласен, – сказал он однажды Парснипу и Пимпернеллу, когда те начали объяснять ему, что, только став пролетарием (с этим выражением у них не связывалось педантского намека на необходимость рожать детей; они просто хотели сказать, что он должен заняться каким-либо плохо оплачиваемым, неквалифицированным механическим трудом), он может надеяться стать мало-мальски ценным писателем, – я не во всем с вами согласен, дорогие Парений и Пимпернелл, – сказал он. – Но, по крайней мере, вы знаете, что я никогда не продавался господствующему классу». Настроившись на такой лад, он, как во сне, видел себя идущим по бесконечной улице фешенебельного квартала; двери всех домов стоят настежь, и ожидающие в них лакеи кричат: «Иди сюда, к нам! Ублажай наших хозяев, и мы накормим тебя!» Но он, Эмброуз, шагает все вперед и вперед, не обращая на них внимания. «Я безнадежно принадлежу веку башни из слоновой кости», – говорил он, Его уважали как писателя все, кто угодно, только не те, с кем он по большей части общался, и это было его несчастье. Пупка Грин и ее друзья смотрели на него как на атавизм «Желтой Книги»^[16]. Чем

добросовестнее он старался приладиться к движению и объединиться с суровыми юнцами последнего десятилетия, тем старомоднее он им казался. Уже сама его внешность, в которой было нечто от щеголеватости и блеска Дизраэли, выделяла его среди них. Безил при всей своей обшарпанности выглядел куда более натурально.

Эмброуз знал это и с упоением повторял слова «старый проходимец».

V

Аластэр и Соня Трампингтон меняли квартиру примерно раз в год под предлогом экономии и обитали теперь на Честерстрит. На каждое новое место они привозили с собой лишь им одним свойственный, неотторжимый от них, неподражаемый беспорядок.

Десять лет назад, без каких-либо усилий и сами того не желая, а лишь делая то, что хочется, они пользовались громкой известностью в фешенебельных кругах. Теперь же, ни о чем не жалея, даже не сознавая перемены, они оказались в тихой бухточке, где обломками кораблекрушения, выброшенными на берег после долгого подпрыгиванья на разгульной волне, лежали останки ревущих двадцатых, высохшие и побитые, на которые не позарился бы и самый невзыскательный собиратель выносимого волнами добра. Лишь от случая к случаю Соня удивлялась тому, как это в газетах не пишут больше о людях, о которых в свое время только и говорили; раньше, бывало, покоя не было от этих газет.

Безил, если не уезжал за границу, часто навещался к ним. В сущности, утверждал Аластэр, они и ютились в такой тесноте для того, чтобы он не мог у них ночевать.

А у Безила, где бы они ни жили, складывалось по отношению к ним нечто вроде домашнего инстинкта – повадка, от которой кидало в оторопь съемщиков, въезжавших следом за ними, ибо бывало с ним и такое, что он, не успев выработать новые нормы поведения, – так стремительны были эти переезды – вскарабкается среди ночи по водосточной трубе и осовело замаячит в окне спальни или же будет найден утром во двореке которым проходят в полуподвал, – простертый ниц и бесчувственный. И вот теперь, в утро катастрофы, Безила устремило к ним столь же недвусмысленно, как если бы он

был под парами, так что, даже ступив на порог их нового жилища, он еще не отдавал себе ясного отчета в том, куда его несет. Войдя, он сразу же направился вверх, ибо, где бы ни квартировали Трампингтоны, сердцем их домашнего очага всегда была спальня Сони, как бы являвшая собой сцену нескончаемого выздоровления.

За последние десять лет Безилу доводилось время от времени присутствовать на церемониях вставания Сони (их было три или четыре на дню, так как, будучи дома, она всегда лежала в постели); так повелось с того дня, когда она, еще в первой поре своей ослепительной красоты, чуть ли не единственная среди целомудренно-дерзких невест Лондона допустила в свою ванную компанию представителей обоего пола. Это было новшество или скорее даже попытка возрождения своего рода еще более золотого века, предпринятая, как и все, что бы ни делала Соня, без малейшего стремления к сомнительной славе: она наслаждалась обществом, она наслаждалась купаньем. В облаках пара среди присутствующих обычно стояли три или четыре молодых человека, которые со спертым дыханьем и не без головокружения плотали смесь крепкого портера с шампанским и делали вид, что подобного рода аудиенции для них самая обычная вещь.

Ее красота, на взгляд Безила, мало изменилась, и уж совсем неизменной оставалась беспорядочная мешанина писем, газет, полуразвернутых свертков, полупустых бутылок, щенков, цветов и фруктов вокруг ее постели, на которой она сидела с шитьем (ибо одной из ее причуд было каждый год покрывать целые акры шелка изысканными вышивками).

– Безил, милый, ты пришел взлететь с нами на воздух? Где твоя ужасная подруга?

– Она сдрейфила.

– Она кошмарная, мой милый, хуже у тебя еще не бывало. Взгляни на Питера. С ума сойти, правда?

Питер Пастмастер, в форме, сидел в ногах ее постели. В свое время по причинам, ныне уже позабытым, он, правда очень недолго, служил в кавалерии, и теперь ни с того ни с сего должен был пожинать то, что давным-давно посеял.

– Нелепо как-то начинать все сначала, завтракать с молодыми людьми под ружьем, правда?

– Не молодыми, Соня. Ты бы на нас посмотрела. Средний возраст младших офицеров в моей части около сорока, полковник заканчивал прошлую войну командующим бригадой, а все наши кавалеристы либо вышедшие в тираж старые вояки, либо стопудовые лакеи.

Из ванной вышел Аластэр.

– Ну, что новенького-хреновенького? – Он открыл бутылки, взял глубокий кувшин и стал смешивать портер с шампанским. – Как насчет ерша? – Они всегда пили этот кислый бодрящий напиток.

– Расскажи нам все про войну, – попросила Соня.

– Ну что ж... – начал Безил.

– Ой, нет, милый, я не то хотела сказать. Не все. И не о том, кто победит и за что мы воюем. Расскажи, что нам всем придется делать. Послушать Марго, так прошлая война была рай, да и только. Аластэр хочет пойти в солдаты.

– Ну, воинская-то повинность, пожалуй, стерла позолоту с этого пряничка, – сказал Безил. – К тому же эта война ничего не даст простому солдату.

– Питер, бедняжечка, – сказала Соня таким тоном, словно адресовалась к одному из щенков. – Слышишь? Эта война ничего тебе не даст...

– Я не возражаю, – ответил Питер.

– Уж теперь-то, надо полагать, у Безила будут самые невероятные приключения. Их у него и в мирное время хватало. А уж в войну-то он бог знает чего натворит.

– Слишком много участников в деле, – заметил Безил.

– Бедняжечки, мне что-то кажется, война совсем не волнует вас так, как меня.

Имя поэта Парснипа, вскользь упомянутое, послужило к возобновлению великой контroversы на тему Парснип – Пимпернелл, одолевавшей Пупку Грин и ее приятелей. Проблема эта, совсем как Шлезвиг-Гольштейнский вопрос в прошлом столетии, не допускала логического разрешения, ибо исходные посылки, попросту говоря, взаимно исключали друг друга. Парснип и Пимпернелл как друзья и соавторы были нераздельны, с этим соглашались все. Однако искусство Парснипа наилучшим образом процветало в Англии, пусть даже изготовившейся к войне, в то время как искусству Пимпернелла

требовалось мирная, плодотворная почва Соединенных Штатов. Взаимодополняющие качества, благодаря которым, по мнению многих, они вместе составляли одного поэта, теперь грозили развалить их содружество.

– Я не утверждаю, что Парснип лучше как поэт, – говорил Эмброуз. – Я лишь утверждаю, что я лично нахожу его более питательным, а потому я лично полагаю, они имели все основания уехать.

– Ну, а мне всегда казалось, что Парснип гораздо больше зависит от окружения.

– Я понимаю, что вы хотите сказать, моя дорогая Пупка, но я с этим не согласен... Вы думаете только о «Снова в Гернике» и забываете про Кристофера-Следствие...

Так, привычным манером, и шла бы дальше эта эстетическая словопрядь, не будь тем утром в мастерской Пупки сердитой рыжей девицы в очках из Лондонской экономической школы, девицы, веровавшей во Всеобщую Народную войну, – бескомпромиссной девицы, которую здесь никто не любил.

– Одного я не понимаю, – сказала она (и тут следует отметить, что все, чего она не понимала, основательно озадачивало Пупку и ее друзей), – одного я не понимаю: как могут эти двое утверждать, что они Современны, если они убежали от крупнейшего события современной истории? С Испанией-то все было просто, тогда они были такие уж современные, ведь никто не грозил прийти и разбомбить их.

Это был щекотливый вопрос, «закавыка», как любят выражаться военные. Того и гляди, чувствовали все, эта неприличная девица произнесет слово «эскепизм», и среди общего молчания, наступившего вслед за ее выпадом, когда все мысленно искали – и не могли найти – убедительный ответ, она действительно выдвинула это непростительное обвинение. – Ведь это же сущий эскепизм, – сказала она. Слово всколыхнуло мастерскую, как возглас «Жульничество!» всколыхивает картежников в игорном зале.

– Какие гадости ты говоришь, Джулия.

– Да, но ответ?..

Ответ, думал Эмброуз. Ответить можно и так и этак. Он многому научился у своих новых друзей, многое мог бы им процитировать. Он

мог бы сказать, что война в Испании была «современной», потому что это была классовая война; что нынешний конфликт, поскольку Россия объявила нейтралитет, всего-навсего этап в процессе распада капитализма; это удовлетворило бы рыжую девицу или, по крайней мере, заставило ее примолкнуть. Но это не был настоящий ответ. Он искал отрядных исторических аналогий, но все примеры, приходившие ему на ум, были в пользу рыжей. Она тоже их знает, думал он, и перечислит со всей своей аспирантской языкастостью. Сократ, шагающий к морю с Ксенофонтом^[17]; Вергилий, освящающий Римскую военную систему правления; Гораций, воспевающий сладость смерти за отчизну; трубадуры, уезжающие на войну; Сервантес на галерах в сражении при Лепанто; Мильтон, заработавший себе слепоту на государственной службе; даже Георг IV, которого Эмброуз чтит так, как другие чтили Карла I, – даже Георг IV верил, будто он сражался при Ватерлоо. Эти и сонмы других отважных сынов своего века всплывали в памяти Эмброуза. Сезанн дезертировал из армии в 1870 году, ну да шут с ним, с Сезанном, в практических, житейских делах он был на редкость непривлекательной фигурой, к тому же как художника Эмброуз находил его невыносимо скучным. Нет, в этих аналогиях не найти ответа.

– Вы просто сентиментальничаете, – сказала Пупка, – точь-в-точь как старая дева, плачущая при звуках военного оркестра.

– Вопрос в том, стали бы они писать лучше, находясь в опасности, – сказал один.

– И стали бы они помогать Делу Народа? – сказал другой.

Старый спор вновь набирал ход после вмешательства грубой девицы. Эмброуз печально глядел на желтушную Венеру с усами. Он-то что делает здесь, на этой галере? – спрашивал он себя.

Соня пыталась дозвониться до Марго, чтобы напроситься всей компанией к ней на завтрак.

– Какой-то гнусный тип говорит, что сегодня они соединяют только служебных лиц.

– Скажи ему, что ты ВР-тринадцать, – сказал Безил.

– Я ВР-тринадцать... А что это такое? Милый, кажется, подействовало... Нет, в самом деле подействовало... Марго, это я,

Соня... Умираю – хочу тебя видеть...

Венера, словно изваянная из сливочного масла, отвечала ему слепым взглядом. Парснип и Пимпернелл – спор бушевал вовсю. Но ему-то какое до всего этого дело?

Искусство и Любовь привели его в эту негостеприимную комнату.

Любовь к длинной череде остолопов: студентов-регбистов, вышедших в тираж борцов, военных моряков; нежная, безнадежная любовь, в лучшем случае вознаграждавшаяся случайным эпизодом, полным грубой чувственности, за которым в трезвом свете дня следовало презрение, ругань, вымогательство.

Мармеладный папашка. Старый пидер. Оригинальность костюма, своя интонация голоса, элегантно-насмешливая манера, которая восхищала и вызывала желание подражать, счастливый дар быстрого, не мужского и не женского ума, искусство ошеломлять и сбивать с толку тех, кого он презирал, – все это было его когда-то, а теперь стало разменной монетой в руках пошлых шутов; теперь оставалось совсем немного ресторанов, куда он мог пойти без риска быть осмеянным, да и там его, словно кривые зеркала, окружали карикатурные портреты его самого. Неужели именно так суждено было выдохнуться сильнейшей страсти, обуревавшей Грецию, Аравию, Ренессанс? Блуждала ли на их лицах гнусная ухмылка, когда умер Леонардо, и подражали ли они, жеманясь, спартанским воинам? Разносились ли их хихиканье над песками вокруг палаток Саладина? Они сжигали на кострах тамплиеров; их любовь по малой мере была чудовищна и ужасна, была способна навлечь вечную погибель, если человек пренебрегал долгом жестокости и угнетения. Беддоуз^[18] умер в одиночестве, наложив на себя руки; Уайльд, хмельной говорун, был оттеснен на задний план, но все же вырос под конец в трагическую фигуру на своем закате. Но Эмброуз, – спрашивал себя Эмброуз, – что с ним? Что с ним, запоздавшим родиться, родившимся в эпоху, которая сделала из него тип, персонаж для фарса? Который вместе с тещами и копчеными селедками стал вкладом столетия в национальную кунсткамеру комического, сродни тем мальчикам-хористам, что хихикают под фонарями Шафтсбери-авеню? А Ганс, наконец-то обещавший покой после столь долгого паломничества,

Ганс, такой простой и отзывчивый, словно молодой крепыш-терьер, – Ганс потонул в неизвестных ужасах фашистского концлагеря.

Нет, огромное желтое лицо с подмалеванными усами никак не могло утешить Эмброуза.

В мастерской среди прочих находился молодой человек призывного возраста; его должны были вот-вот призвать.

– Просто не знаю, как быть, – говорил он. – Разумеется, всегда можно сказать, что отказываешься служить, потому что совесть не велит, но у меня нет совести. Сказать, что у меня есть совесть, значило бы отречься от всего, за что мы боролись.

– Ничего, Том, – утешали его. – Мы-то знаем, что у тебя нет совести.

– Но тогда, – недоумевал молодой человек, – раз у меня нет совести, я, ей-богу, свободно могу сказать, что она у меня есть.

– У нас тут Питер и Безил. Мы все настроены очень весело и воинственно. Можно, мы придем к тебе завтракать? Безил говорит, вечером должен быть ужасающий налет, так что, возможно, мы увидимся в последний раз... Ой, кто это? Да. Ведь я же сказала вам, что я... Кто я, Безил? Я ВР-тринадцать. Какая-то чудачка на станции спрашивает, почему я веду личный разговор... Ну так вот, Марго, мы все закатимся к тебе. Это будет прелестно... Алло! Алло! Так я и знала, что эта чертова мымра разъединит нас.

Природу, а за ней – Искусство я любил^[19]. Сырая природа редко нежна; окровавленные клыки и когти; тулонские матросы, пахнущие вином и чесноком, с негнушимися загорелыми шеями, с сигаретой, прилипшей к нижней губе, то и дело переходящие на невразумительное, высокомерное аргю.

Искусство. Вот куда привело его искусство, в эту мастерскую, к этим грубым и нудным юнцам, к этой смехотворной желтой голове в обрамлении карамелек.

В дни Дягилева его путь был путь наслаждений; в Итоне он коллекционировал корректурные листы с рисунками Ловата Фрейзера^[20]; в Оксфорде он декламировал в рупор «In Memoriam»^[21] под аккомпанемент расчесок с папиросной бумагой; в Париже он часто бывал у Жана Кокто и Гертруды Стайн и там же написал и

опубликовал свою первую книгу – очерк о монпарнасских неграх, запрещенную в Англии Уильямом Джойнсон-Хиксом^[22]. После этого путь наслаждений пошел легонечко под уклон и привел его в мир модных фотографов, сценических декораций для Кокрэна^[23], в мир Седрика Лина и его неаполитанских гротов. Тогда он решил свернуть с пути наслаждений и сознательно избрал путь суровый и героический.

Шел год кризиса в Америке, пора героических решений, когда Поль пытался уйти в монастырь, а Дэвид успешно бросился под поезд. Эмброуз уехал в Германию, жил там в рабочем квартале, повстречал Ганса, начал новую книгу, глубокую, нескончаемую книгу, – своего рода епитимью за фривольное прошлое; незаконченная рукопись лежала теперь в старом чемодане где то в Центральной Европе, а Ганс сидел за колючей проволокой или, быть может, и того хуже: покорился, что было более чем вероятно при его бесхитростном, беспечном приятии вещей, и вернулся к тем, в коричневых рубашках, – человек с запятнанным именем, который уже не будет пользоваться доверием, но все же сгодится для фронта, сгодится на то, чтобы сунуть его под пули.

Рыжая девица вновь принялась задавать каверзные вопросы.

– Том, – говорила она, – уж если неплохо было жить жизнью рабочего на консервной фабрике, то чем же плохо служить вместе с ним в армии?

– Джулия словно вменила себе в обязанность обвинять людей в трусости.

– А почему бы и нет, уж если на то пошло? – ответила Джулия.

Ars longa^[24], думал Эмброуз, а жизнь – если б только коротка, но ведь и сера к тому же.

Аластэр подключил электробритву к розетке лампы на письменном столе Сони и брился в спальне, чтобы не упустить ничего интересного. Он уже видел однажды Питера в полном параде. Это было на придворном балу, и он очень жалел его, так как это означало, что Питер потом не сможет пойти в ночной клуб; в тот раз, впервые увидев Питера в хаки, он завидовал ему, как школяр. В Аластэре вообще оставалось еще очень много от школяра; он любил зимний и парусный спорт, игру в мяч и добродушные розыгрыши за стойкой

бара в Брэттс-клубе; он соблюдал некоторые наивные запреты по части туалета и никогда не начинал носить котелка в Лондоне раньше, чем кончатся Гудвудские скачки; у него было школярски твердое понятие о чести. Он понимал, что все эти предрассудки – достояние исключительно его личного, и отнюдь не был склонен осуждать тех, кто их не разделял; он беспрекословно принимал возмутительное неуважение к ним со стороны Безила. Он лелеял свое понятие о чести так, как лелеял бы дорогое и необычное домашнее животное – с Сонейстряслась однажды такая беда: она целый месяц держала у себя маленького кенгуру по кличке Молли. Он знал, что по-своему эксцентричен не меньше, чем Эмброуз Силк. Когда ему был двадцать один, он в течение года состоял любовником при Марго Метроленд – в ученичестве, которое прошли многие из его друзей; теперь все забыли про это, но тогда об этом знали все их знакомые; однако Аластэр никогда не намекал на этот факт никому, даже Соне. С тех пор как они поженились, Аластэр изменял ей лишь неделю в году, во время состязаний по гольфу, устраиваемых Брэттс-клубом в Ле-Туке, обычно с женой своего одноклубника. Он делал это без зазрения совести, полагая, что эта неделя, так сказать, выпадает из обычного хода жизни с ее цепью верностей и обязательств; что это своего рода сатурналии, когда законы теряют силу. Все остальное время он был ей преданным мужем.

В свое время Аластэр состоял старшим рядовым в пехотном полку в Итоне, и это было все его знакомство с военной службой; во время всеобщей забастовки он разъезжал по лондонским кварталам бедноты в крытом автомобиле, разгоняя собрания бунтарей, и отделал дубинкой несколько ни в чем не повинных граждан; этим ограничивался его вклад в политическую жизнь родной страны, поскольку, несмотря на частые переезды, он всегда жил в избирательных округах, не знавших предвыборной борьбы.

Однако для него всегда было аксиомой, что, случись такое абсурдное, такое анахроничное событие, как большая война, он примет в ней пусть скромное, но энергичное участие. Он не строил иллюзий насчет своих способностей, но совершенно справедливо полагал, что мишенью для врагов короля он послужит не хуже иных прочих. И вот теперь для него явилось своего рода потрясением, что страна вступила в войну, а он сидит дома в пижаме и как ни в чем не

бывало проводит свой воскресный день, угощая шампанским с портером случайных гостей. Форма Питера усугубляла его беспокойство. У него было такое ощущение, будто его застигли за прелюбодеянием на рождестве или увидели в мягкой шляпе на ступеньках Брэттс-клуба в середине июня.

С углубленным вниманием, словно маленький мальчик, он изучал Питера, вбирал в себя каждую деталь его обмундирования: сапоги, офицерский поясной ремень, эмалированные звездочки знаков отличия – и испытывал разочарование, но вместе с тем и некоторое утешение оттого, что у Питера нет сабли; он просто бы умер от зависти, если бы у Питера была сабля.

– Я знаю, что выгляжу ужасно, – сказал Питер. – Начальник штаба не оставил у меня сомнений на этот счет.

– Ты выглядишь очень мило, – сказала Соня.

– Я слышал, плечевые ремни теперь больше не носят, – сказал Аластэр.

– Это так, но формально мы все еще носим саблю. Формально. У Питера все-таки есть сабля формально.

– Милый, как по-твоему, если мы пройдем мимо Букингемского дворца, часовые отдадут тебе честь?

– Вполне возможно. Я не думаю, чтобы Белише {Лесли Хор-Белиша (1893-1957) – английский политический деятель, сторонник реформ и нововведений, занимавший различные государственные посты; с 1934 по 1937 г.

– министр путей сообщения, с 1937 по 1940 г. – военный министр.} удалось до конца искоренить этот обычай.

– Тогда отправляемся сейчас же. Вот только оденусь. Ужас как хочется их увидеть.

Они прошли с Честер-стрит к Букингемскому дворцу – Соня и Питер впереди, Аластэр и Безил шага на два отступя. Часовые отдали честь, и Соня ущипнула Питера, когда он ответил на приветствие. Аластэр сказал Безилу:

– Надо думать, скоро и нам придется козырять.

– На этот раз они не будут гоняться за добровольцами, Аластэр. Они призовут людей, как только сочтут необходимым, – никаких тебе кампаний под лозунгом «Вступайте в армию», никаких популярных

песенок. Пока что у них просто не хватает снаряжения на всех тех, кто должен проходить военную подготовку.

– Кто это «они»?

– Хор-Белиша.

– А кого интересует, чего он хочет? – сказал Аластэр. Для него не существовало никаких «они». Воюет Англия; воюет он, Аластэр Трампингтон, и не политиков это дело – указывать ему, когда и как он должен драться. Он только не мог выразить все это словами, по крайней мере такими, которые не дали бы Безилу повода посмеяться над ним, а потому продолжал идти молча за воинственной фигурой Питера, пока Соня не надумала взять такси.

– Я знаю, чего я хочу, – сказал Безил. – Я хочу стать в один ряд с теми, о ком говорили в девятнадцатом году. С теми толстокожими, кому война пошла впрок.

VI

Хотя Фредди Сотилл, Джозеф Мейнуэринг и все прочие, кого время от времени призывали решать регулярно всплывающий вопрос о будущем Безила, и отзывались о нем в выражениях, какими обычно характеризуют шахтеров Южного Уэльса – как о человеке никчемном и ни на что не годном, тем не менее приискание той или иной работы играло немаловажную роль в его жизни, ибо у Безила никогда не было своих денег, чем, собственно, и можно было бы объяснить и оправдать большинство его выходов. Тони и Барбара каждый получили по отцовскому завещанию приличное наследство, однако сэр Кристофер Сил умер вскоре после того, как Безил впервые осрамился по крупному. Если бы мыслимо было предположить, что зрелище людской развращенности может потрясти человека, четверть века пробывшего на посту руководителя парламентской фракции партии, то впору бы подумать, что бесчестье ускорило конец сэра Кристофера, так быстро одно событие последовало за другим. Как бы там ни было, на смертном ложе сэр Кристофер в истинно мелодраматическом духе лишил наследства младшего сына, оставив его будущее всецело в руках матери.

Даже самый преданный из друзей леди Сил – а таких у нее было немало – не стал бы утверждать, что она наделена

сверхчеловеческими умственными способностями, а меж тем только сверхъестественная сила могла бы направлять первые шаги Безила во взрослой жизни. Метода, на которой она остановилась, в лучшем случае изобличала отсутствие воображения и, подобно прочим аналогичным мерам, была подсказана ей Джозефом Мейнуэрингом; она состояла в том, чтобы, пользуясь словами сэра Джозефа, «дать мальчику хлеб с маслом, а о джеме пусть позаботится сам». В переводе с языка метафор на простой язык это означало, что Безилу следует выдавать четыреста фунтов в год при условии хорошего поведения, с расчетом на то, что он дополнит эту сумму собственными усилиями, если захочет жить более вольготно.

Метода эта не замедлила принести плачевные итоги. Четыре раза за последние десять лет леди Сил приходилось платить долги Безила; один раз с условием, что он будет жить дома при ней; один раз с условием, что он будет жить где угодно, хоть за границей, только не у нее; один раз с условием, что он женится; один раз с условием, что не женится. Дважды он был оставлен без шиша в кармане: дважды восстановлен в милости; один раз устроен в Темпл^[25] на жалованье в тысячу фунтов в год; несколько раз, в поощрение серьезных попыток заняться коммерческой деятельностью, был обнадежен кругленькими суммами капитала; один раз чуть не вступил во владение сизалевой фермой в Кении. И при всех этих переменах судьбы Джозеф Мейнуэринг играл роль политического агента при артачливом султанине на жалованье, причем играл так, что впору ожесточиться и воплощенному благодущию, отчего падала до минимума ценность всякого его даяния. В промежутки забвения и независимости Безил промышлял сам о себе и одно за другим перепробовал все ремесла, доступные молодому человеку с его способностями. Ему никогда не было особенно трудно найти работу, гораздо труднее было удержаться на ней, ибо во всяком работодателе он видел противника по игре, требующей ловкости и изворотливости. Всю свою энергию и изобретательность Безил направлял на то, чтобы хитрым путем вынудить работодателя к сдаче, и как только он втирался к нему в доверие, у него пропадал всякий интерес к игре. Так английские девицы пускаются в бесконечные ухищрения, чтобы раздобыть себе мужа, а выйдя замуж, считают себя вправе почитать на лаврах.

Безил писал передовицы для газеты «Скотские новости», состоял в личной свите лорда Мономарка, торговал шампанским на комиссионных началах, писал диалоги для кино и открыл для Би-Би-Си серию интервью с продолжением. Катясь все ниже по общественной лестнице, он служил рекламным агентом у женщины-змеи и в качестве гида завез группу туристов на итальянские озера. (Рассказом об этом он некоторое время расплачивался за обеды. Путешествию сопутствовал ряд раздражающих эпизодов, нараставших в бурном темпе, и кончилось оно тем, что Безил связал в пачку все билеты и паспорта и утопил их в озере Гарда, а затем сел на утренний поезд и отправился один домой, препоручив пятьдесят британцев, без гроша в кармане и без знания иностранных языков, заботам божества, пекущегося о брошенных странниках, буде такое существует; по его словам, они и по сей день были там.) Время от времени Безил исчезал за пределы цивилизованного мира и возвращался с рассказами, которым никто особенно не верил, — например, о том, как он работал на тайную полицию в Боливии или консультировал императора Азании по вопросам модернизации страны. Безил постоянно, если можно так выразиться, проводил свои собственные кампании, предъявлял свои собственные ультиматумы, пропагандировал свои собственные идеи, ограждал себя своей собственной светомаскировкой; он был беспокойным меньшинством одного в мире ленивых бургеров. В своей собственной жизни он практиковал систему нажима и умиротворения, агитации и шантажа, сопоставимую с нацистской дипломатией, с той только разницей, что цели, которые он себе ставил, не шли дальше его собственной забавы.

Подобно нацистской дипломатии, его система могла успешно функционировать лишь в миролюбиво настроенном, упорядоченном, респектабельном мире. В мире же новом, скрытничавшем, хаотическом, каким он стал в первые дни войны, Безил впервые почувствовал себя не в своей тарелке. Ощущение было такое, будто он в какой-то латиноамериканской стране во время переворота, причем не на положении англичанина, а на положений латиноамериканца.

Конец сентября Безил встретил в несколько раздражительном расположении духа. Страх перед воздушными налетами на какое-то время прошел, и те, кто по своей воле покинули Лондон, теперь возвращались, делая вид, будто лишь ненадолго отлучились в свои

загородные имения навести там порядок. Жены и дети бедняков тоже валом валили домой, в свои опустевшие кварталы. В газетах писали, что поляки держатся стойко; что их кавалерия проникла далеко в глубь Германии; что враг уже испытывает нехватку горючего; что Саарбрюккен вот-вот перейдет в руки французов. Уполномоченные гражданской противовоздушной обороны рыскали по отдаленным деревушкам, выслеживая простолюдинов, возвращающихся домой из трактиров с горящими трубками. Лондонцы никак не хотели усваивать обычай сидеть дома у камелька и ползали впотьмах от одного увеселительного заведения к другому, а о прибытии к месту назначения узнавали на ощупь, по пуговицам на ливрее швейцара; черные стеклянные двери, вращаясь, открывали доступ в сказочный мир, и словно возвращалось детство, когда тебя с завязанными глазами вводили в комнату, где стоит зажженная елка. Список пострадавших в уличных происшествиях разросся до чудовищных размеров, и по всему Лондону ходили ужасающие рассказы о налетчиках, которые нападали на старых джентльменов буквально на ступеньках их клубов или забивали их до полусмерти на Хэй-Хилл.

Все, с кем бы ни встречался Безил, хлопотали о месте. Иные, сознательно или бессознательно, уже давно застраховали себя от безработицы, определившись добровольцами в какую-нибудь воинскую часть. Одни, подобно Питеру, в ранней юности уважили родительскую блажь и отбарабанили несколько дорого обошедшихся лет в регулярной армии, другие, подобно Фредди, Заседали в суде или совете графства, выполняя обычные обязанности, сопряженные с жизнью в деревне, и одновременно нес; ли службу в йоменских частях. Эти ходили в форме и не знали забот. В последующие месяцы, томясь без дела на Среднем Востоке, они с завистью думали о тех, кто выбрал службу более разумно и осмотрительно, зато сейчас в их душах царил завидное спокойствие. Прочих же одолевала жажда трудовой деятельности на благо общества, какой бы неприятной она ни была. Одни формировали санитарные дружины и часами бдели на посту, поджидая жертвы воздушных налетов, другие записывались в пожарные команды, третьи становились мелкими гражданскими чиновниками, Однако ни одно из этих почтенных занятий не прельщало Безила. Он был как раз тем человеком, за которым должны были послать в этот поворотный момент мировой истории, если бы

английская жизнь протекала так, как она изображается в приключенческих романах. Его должны были привести в какой-нибудь ничем не примечательный дом на Мейда-Вейл и представить тощему человеку в шрамах, с жесткими серыми глазами; одному из тех, кто всегда за кулисами; одному из тех, чьи имена неведомы общественности и газетам, кто незамеченным проходит по улице и известен по имени лишь в узком кругу кабинета министров да трижды засекреченным шефам международной тайной полиции...

– Присаживайтесь, Сил. Мы с интересом следили за вашими эволюциями, начиная с того дела в Ла-Пасе в тридцать втором году. Вы мерзавец, но мне думается, именно такие мерзавцы нужны родине в данный момент. Я полагаю, вы готовы на все.

– Да, я готов на все.

– Иного ответа я от вас и не ожидал. Вот вам предписание. Сегодня в четыре тридцать вам надлежит явиться на Аксбриджский аэродром, где вас встретят и вручат вам паспорт. Вы будете путешествовать под именем Бленкинсон. Вы табачный плантатор из Латакии. Гражданский самолет с несколькими посадками доставит вас в Смирну, где вы остановитесь в отеле «Мирамар» и будете ждать дальнейших указаний. Все ясно?..

Все было ясно, и Безил, жизнь которого до сегодняшнего дня больше, чем чья-либо, походила на приключенческий рассказ, почти ожидал приглашения в таком роде. Приглашения не последовало. Вместо этого сэр Джозеф Мейнуэринг пригласил его на завтрак в Клуб путешественников.

Завтраки с сэром Джозефом в Клубе путешественников вот уже много лет выстраивались вехами на пути Безила по наклонной плоскости. Их был целый ряд: завтраки урегулирования четырех его крупных долгов, завтрак выставления его кандидатуры на парламентских выборах, завтраки двух его порядочных профессий, завтрак едва не состоявшегося развода Анджелы Лин, Завтрак Украденных Изумрудов, Завтрак Кастетов, Завтрак Последнего Чека Фредди, – и каждый из них мог бы послужить темой и названием для романа в популярном вкусе.

Эти трапезы происходили *a deux*^[26] в уединенном углу. Завтрак Производства в Гвардейцы был гораздо более достойной затеей и имел целью представить Безила подполковнику Гвардейских

Бомбардиров – офицеру, который, как ошибочно полагал сэр Джозеф, питал к нему симпатию.

Подполковник не был как следует знаком с сэром Джозефом, и приглашение на завтрак удивило и даже несколько встревожило его, ибо недоверие, которое он питал к сэру Джозефу, основывалось не на сколько-нибудь верной оценке его способностей, а, как ни парадоксально, на страхе перед сэром Джозефом – политиком и деловым человеком. Политики были в глазах подполковника не жуликами, а жупелами. Они представлялись ему – все, даже сэр Джозеф, – людьми хитросплетенными, интриганам масштаба эпохи Ренессанса. С ними надо ладить – только таким путем можно добиться крупных успехов на своем поприще; кто в ссоре с ними, того ждет бесславный конец. Для простого солдата – а подполковник более чем кто-либо заслуживал этого почтенного звания – единственная безопасная линия поведения состоит в том, чтобы держаться подальше от людей вроде сэра Джозефа. А уж коли встреча неизбежна, с ними надо проявлять самую что ни на есть бескомпромиссную сдержанность. Таким образом, сэр Джозеф через свою преданность Синтии Сил попал в двусмысленное положение: он представлял, с целью продвижения, человека, перед которым внутренне содрогался, другому человеку, который питал примерно такие же чувства к нему самому. Ясное дело, добра такое совпадение не сулило.

Безил, подобно «лорду Монмутскому»^[27], «никогда не снисходил до ухищрений туалета», и подполковник разглядывал его с отвращением. Сойдясь вместе, разношерстное трио проследовало к столику.

Солдат и государственный муж положили на колени салфетки и в интересах изучения меню допустили паузу, в которую тотчас же жизнерадостно вломился Безил.

– Нам следовало что-то предпринять с Либерией, подполковник, – сказал он.

Подполковник поднял на него возмущенный взгляд, каким бравый службист встречает всякую попытку обсуждать войну в более широких аспектах.

– Надо полагать, соответствующие инстанции занимаются этим вопросом, – ответил он.

– Не обольщайтесь, – сказал Безил. – Я не верю, чтобы там об этом подумали. – И в продолжение двадцати минут он объяснял, почему и каким образом Либерию надо немедленно аннексировать.

Старшие ели молча. Наконец случайное упоминание о России дало сэру Джозефу повод вставить замечание.

– Я не верю в пророчества, – сказал он. – Но в одном я уверен: еще до нового года Россия выступит против нас. Это привлечет на нашу сторону Италию и Японию. И тогда уж останется только ждать, пока наша блокада сделает свое дело. Войну нам выиграют марганец, бокситы и уж не знаю, что там еще, о чем ни вы, ни я слыхом не слыхали.

– И пехота.

– И пехота тоже.

– Научите человека маршировать и стрелять. Дайте ему настоящего офицера. Об остальном можете не беспокоиться.

Безилу показалось, что настал подходящий момент заговорить о своем.

– Каким же, по-вашему, должен быть настоящий офицер?

– Он должен быть настоящим.

– Странное дело, – начал Безил. – Принято считать, что из верхов всегда выходят хорошие командиры. В старину, конечно, так оно и было, ведь тогда аристократ должен был присматривать за арендаторами и получал соответствующее воспитание. Ну, а теперь три четверти ваших настоящих офицеров живут в городах. У меня арендаторов нет.

Подполковник с омерзением посмотрел на Безила – Нет, нет. Конечно, нет.

– А у вас есть арендаторы?

– У меня? Нет. Мой брат давным-давно продал поместье.

– То-то и оно!

Сэр Джозеф отчетливо видел, что подполковника покорило; Безил же, казалось, вовсе этого не замечал.

– Сил одно время выставлял свою кандидатуру от консерваторов в избирательных округах на западе, – сказал сэр Джозеф, желая исключить хотя бы один источник недоразумений.

– Кто только не называл себя консерватором за последние год или два, – сказал подполковник. – Отсюда добрая половина всех наших

несчастий, если хотите знать мое мнение. – Затем, сообразив, что это может показаться невежливым, любезно добавил: – Не хотел обидеть. Осмелюсь предположить, с вами все в порядке. Ничего про вас не знаю.

Попытка Безила баллотироваться на выборах была не тот эпизод, о котором стоило распространяться. Сэр Джозеф переменял тему разговора.

– Конечно, французам придется пойти на уступки, чтобы привлечь на нашу сторону Италию. Пожертвовать Джибути или что-нибудь в этом роде.

– С какой стати, черт подери? – раздраженно сказал подполковник. – Кому она нужна, Италия?

– Чтобы создать противовес России.

– Каким образом? Где? Зачем? Совершенно не понимаю.

– Я тоже, – сказал Безил.

Под угрозой поддержки со столь нежелательного фланга подполковник немедленно сдал позиции.

– Правда? – сказал он. – Ну, я не сомневаюсь, что Мейнуэрингу лучше знать. Его дело – разбираться в таких вещах.

Воодушевленный этими словами, сэр Джозеф пустился в перечисление разумных уступок, какие, по его мнению, Франция могла бы сделать Италии: Тунис, Французское Сомали, Суэцкий канал – и перечислял их до конца завтрака. – Корсика, Ницца, Савойя? – высказал предположение Безил. Нет, сэр Джозеф думает, что нет.

Подполковник в молчаливой ярости выслушивал предложения расчленить союзника, лишь бы не брать в союзники Безила. Он не хотел идти на этот завтрак. Нелепо было бы утверждать, что он очень занят, однако же он был занят более чем когда-нибудь и эти два-три часа в середине дня отводил на отдых. Он любил проводить эти часы среди людей, которым можно рассказать о том, что он сделал за утро; которые могли бы оценить важность и необычность его работы; еще их можно было провести с красивой женщиной – либо то, либо другое. Он пробыл в Клубе путешественников ровно столько, сколько требовали приличия, и вернулся в свою столовую. Его ум был неприятно возбужден услышанным, а еще больше присутствием замухрышки радикала, имени которого он не запомнил. Уж, по

крайней мере, от этого его могли избавить за столом сэра Джозефа, думалось ему.

– Ну как, Джо, все улажено?

– Строго говоря, ничего еще не улажено, Синтия, но почин есть.

– Надеюсь, Безил произвел хорошее впечатление?

– Я тоже надеюсь, но, боюсь, он говорил не совсем то, что нужно.

– О господи! Какой же будет следующий шаг? Сэру Джозефу очень хотелось сказать, что следующего шага не будет; лучшее, на что может надеяться Безил, это забвение; возможно, через месяц-другой, когда завтрак забудется...

– Теперь дело за Безилом, Синтия. Я представил его. Он должен проявить настойчивость и сам довести все до конца, если он действительно желает попасть в этот полк. Но мне как-то подумалось... раз уж вы первая заговорили об этом – вы действительно считаете, что это именно то, что нужно...

– Мне сказали, ничего лучше для него не придумать, – гордо произнесла леди Сил.

– Да, это так. В известном смысле ничего лучше для него не придумать.

– В таком случае он возьмет от знакомства все, что можно, – сказала лишенная воображения мать.

Подполковник перекипал потихоньку в своем кабинете: один из офицеров – и не молоденький какой-нибудь, а матерый резервист – посмел явиться к нему без перчаток и в замшевых ботинках; вспышка гнева принесла огромное облегчение; перекипание было признаком довольства, чем-то вроде внутреннего мурлыканья; такое настроение его подчиненные считали хорошим настроением. Ему казалось, что, пока полком командует такой человек, как он, полк застрахован от серьезных неприятностей (как ни странно, этот взгляд разделял и проштрафившийся офицер). И вот под это настроение подполковнику доложили, что его хочет видеть какой-то господин в штатском, некто мистер Сил. Имя было ему незнакомо, и такой же незнакомой показалась поначалу внешность Безила, ибо Анджела не пожалела ни сил, ни денег, чтобы привести его в божеский вид. Он был свежешподстрижен, в накрахмаленном белом воротничке и котелке, при тонкой золотой цепочке для часов и прочих атрибутах порядочности, в число коих входил новый зонтик. Анджела же

разжевала ему, с чего следует начать разговор. «Вы очень заняты, полковник, я понимаю, но, надеюсь, вы уделите мне несколько минут и дадите добрый совет...».

Все это прошло сносно.

– Хотите поступить на военную службу? – сказал подполковник.
– Ну что ж, конечно, к нам повалит много людей со стороны. Формируется много новых батальонов, даже у нас в бригаде. Советую поступить в пехоту. Идти в кавалерийские части нет смысла. Теперь все на машинах. Были бы машинистом – вот это очень бы пригодилось. Со всех сторон слышу дурацкие разговоры о том, что эта война – война механизированная, война воздушная, война коммерческая. Все войны – войны пехоты. Всегда так было.

– Да, как раз о пехоте я и думал.

– И правильно. Говорят, некоторым армейским пехотным полкам очень нужны офицеры. Полагаю, вам не хочется начинать с рядового, ха-ха-ха! Последнее время тут накрутили изрядно чепухи. Конечно, некоторым юнцам, что у меня побывали, это не повредит. Но человеку ваших лет следует обратиться в дополнительный резерв, назвать полк, в который вы хотите определиться, – во многих армейских полках, как умеют, делают большое дело, – и попросить командира ходатайствовать о вашем зачислении.

– Как раз за тем я, и пришел к вам, сэр. Я рассчитывал, что вы...

– Что я?!

До тугого на соображение подполковника туго доходила мысль, что Безил, этот разнузданный молокосос, так грубо расстроивший его отдых накануне, этот радикал, посмевавшийся усомниться в доброкачественности настоящих офицеров, просится к нему, в гвардейские бомбардиры, ни больше ни меньше.

– Мне всегда казалось, – сказал Безил, – что уж если зачисляться в гвардейскую пехоту, то, пожалуй, все же лучше податься к вам. Вы не такие тухлые, как гвардейцы-гренадеры, и не скованы всеми этими липовыми местническими связями, как Шотландский, Ирландский и Валлийский гвардейские полки.

Не дай Безил другого повода к обиде; имей он самую располагающую внешность, репутацию блестящего спортсмена и манеру обхождения, в которой уважительность к старшему самым безупречным образом сочеталась бы с чувством собственного

достоинства; будь он повелителем тысячи преданных арендаторов и племянником самого командира бригады, – отнесение им, штатским, эпитетов «тухлый» и «липовый» к гвардейской бригаде погубило бы его бесповоротно.

– Так вот что я предлагаю, – продолжал Безил. – Я добровольно зачисляюсь в этот дополнительный резерв и называю ваш полк. Это пройдет?

Подполковник обрел голос, но он им не владел. Это был голос человека, которого подержали несколько секунд на виселице, а затем сняли.

Подполковник пощупал воротник, словно и впрямь ожидая обнаружить на нем петлю палача. Он сказал:

– Это не пройдет. Мы не берем офицеров из дополнительного резерва.

– Тогда как же мне попасть к вам?

– Боюсь, я каким-то образом ввел вас в заблуждение. У меня нет для вас вакансии. Мне нужны взводные командиры. У меня и так шесть или семь младших офицеров, которым за тридцать. Можете вы представить себя командиром, ведущим в бой взвод?

– Вполне могу, только это мне вовсе не улыбается. По правде сказать, как раз поэтому-то я и обхожу стороной армейские пехотные полки. В конце концов у гвардейцев для человека всегда найдется интересная штабная работенка, не так ли? Я вот о чем думал: зачислюсь-ка, думаю, к вам, а там подыщу себе что-нибудь поинтереснее. Жизнь в полку, видите ли, наверное, нагнала бы на меня смертную тоску, да вот все говорят мне, что великое дело – начать с приличного полка.

Петля на шее подполковника затянулась. Он силился что-то сказать и не мог. Хрипом, который едва ли можно было назвать человеческим, и красноречивым жестом он дал понять, что разговор окончен.

По канцелярии мигом разнеслась весть, что подполковник опять впал в дурное настроение.

Безил вернулся к Анджеле.

– Как прошла встреча, милый?

– Неудача. Полная неудача.

– Господи боже! И ведь ты был такой представительный.

– Да. Должно быть, дело в чем-то другом. Я был жутко вежлив. Говорил все как надо. Подозреваю, этот старый змей Джо Мейнуэринг опять намутил воду.

VII

– Когда мы говорим, что Парснип не может писать в Европе военного времени, мы, конечно, подразумеваем, что он не может писать так, как писал раньше, верно? Не лучше ли ему было остаться здесь, пусть даже это и означало бы перерыв в творчестве на год-другой? Зато он имел бы возможность расти над собой.

– Я не думаю, чтобы Парснип и Пимпернелл могли расти над собой. Видите ли, орган не может расти над собой. На нем можно исполнять другие музыкальные произведения, но сам он при этом не меняется. Мне кажется, как инструмент, Парснип и Пимпернелл исчерпали возможности развития.

– Ну, а если предположить, что Парснип может развиваться, а Пимпернелл нет? Или, положим, они бы развивались в разных направлениях. Что тогда?

– Вот именно, что тогда?

– А разве для того, чтобы написать Стихотворение, непременно нужны два человека? – спросила рыжая девица.

– Не упрощай, Джулия.

– Мне-то думалось, поэзия – это работа, которой занимается только один. И неполный рабочий день к тому же.

– Но, Джулия, согласишься, что ты не так уж хорошо разбираешься в поэзии.

– Оттого и спрашиваю.

– Не обращай внимания, Том. Она и не хочет разобраться. Ей бы только приставать.

Они завтракали в ресторане на Шарлот-стрит; их было слишком много за столиком: когда кто-нибудь протягивал руку за стаканом, а сосед в этот же момент тянулся ножом к маслу, на рукаве оставался жирный мазок; слишком много на одно меню – одинарный лист бумаги, заполненный от руки красными чернилами, передаваемый из рук в руки с безразличием и нерешительностью; слишком много на одного официанта, который не мог удержать в голове столько

различных заказов; их было всего шестеро, но это было слишком много для Эмброуза. Разговор составлялся из утверждений и восклицаний. А Эмброуз жил беседой и для беседы. Он наслаждался сложным искусством компоновать, согласовывать во времени и должным образом уравнивать элемент повествовательный и краткое замечание, наслаждался взрывами спонтанной пародийности, намеками, которые один поймет, другой нет, переменой союзников, предательствами, дипломатическими переворотами, возвышением и падением диктатур; все это могло случиться в течение часа, пока сидишь за столиком. Но теперь? Неужели и это утонченнейшее, взыскательнейшее из искусств похоронено вместе с миром Дягилева?

Последние месяцы он не виделся ни с кем, кроме Пупки Грин и ее приятелей. К тому же теперь, с приходом Анджелы, Безил выпал из кружка Пупки так же внезапно, как и появился, оставив Эмброуза в странном одиночестве.

Почему, спрашивал он себя, настоящие интеллектуалы предпочитают общество шалопаев обществу своих братьев по духу? Безил обыватель и мошенник; временами он нагоняет жуткую скуку, временами серьезно мешает; это человек, которому нет места в грядущем государстве рабочих; и все же, думал Эмброуз, я жажду его общества. Любопытно, думал он, что всякая религия обещает рай, который абсолютно неприемлем для человека с развитым вкусом. Нянюшка толковала мне о небе, полном ангелов, играющих на арфах; эти – толкуют о земле, полной досужих, довольных заводских рабочих. Безил определенно не проскочит ни в те, ни в другие ворота. Религию можно принять в ее разрушительной стадии; монахи в пустыне, разрезающие на куски эту болтуню Гипатию^[28]; банды анархистов, поджаривающие монахов в Испании. Проповеди в сектантских часовнях о геенне огненной; уличные ораторы, визжащие от зависти к богатым. Когда речь идет об аде – все просто. Человеческий ум не нуждается в подхлестывании, когда дело идет об изобретении ужасов; он обнаруживает неповоротливость лишь тогда, когда тужится изобрести небо. Вот Лимб другое дело. В Лимбе человек обретает подлинное счастье и без видения славы небесной; никаких арф; никакого общественного порядка; только вино, беседа и несовершенные, самые различные люди. Лимб для некрещеных, для благочестивых язычников, для искренних скептиков. Разве я принял

крещение современного мира? Имени-то я, по крайней мере, не менял. Все остальные левые взяли себе псевдонимами плебейские однослоги. Эмброуз звучит безнадежно буржуазно. Парснип часто говорил ему это. К черту Парснипа, к черту Пимпернелла. Неужели этим свирепым юнцам больше не о чем спорить?

Сейчас они обсуждали счет, причем каждый забыл, что ел; меню передавали из рук в руки, чтобы проверить цены.

– Когда договоритесь, скажите мне.

– У Эмброуза всегда самый большой счет, – сказала рыжеволосая девица.

– Дорогая Джулия, пожалуйста, не говорите мне, что на эти деньги я мог бы целую неделю кормить семью рабочего. Я положительно слышу в своем брюхе щелк, дорогая. Я уверен, рабочие едят куда больше.

– А вы знаете цифру прожиточного минимума для семьи из четырех человек?

– Нет, – тоскливо сказал Эмброуз. – Нет, я не знаю этой цифры, и, пожалуйста, не говорите мне. Она несколько меня не удивит. Лучше уж буду думать, что она поразительно мала, мне так больше нравится. (Зачем я так говорю? С кивками и трепетанием век, словно подавляя смехок? Почему я не могу говорить по-человечески? У меня бесстыдный голос Апулеева осла, обращающего в насмешку собственные слова.) Они вышли из ресторана и неопрятной кучкой сгрудились на тротуаре, не в силах решить, кто с кем пойдет, куда и для чего. Эмброуз попрощался и поспешил прочь, легкой, до смешного легкой стопой, но с тяжелым сердцем. Двое солдат, стоявших перед пивной, испустили неприличные звуки, когда он проходил мимо. «Вот пожалею на вас вашему старшине», – весело, чуть ли не галантно сказал он и дунул вдоль по улице. Быть бы мне среди них, подумалось ему. Ходить бы с ними, пить пиво и пускать неприличные звуки в проходящих мимо эстетов. Война каждому дает возможность избрать новый курс, лишь я один несу бремя своей исключительности.

Он пересек Тотнем-Корт-род и Гауэр-стрит, не имея никакой цели, кроме желания подышать свежим воздухом, и только вступив под сень Лондонского университета и увидев его безобразно выпирающую в осеннее небо громаду, вспомнил, что здесь

помещается министерство информации и что его издатель, Джеффри Бентли, возглавляет в министерстве какой-то недавно созданный отдел. Он решил заглянуть к нему.

Пройти в здание оказалось не так-то легко; только раз в жизни, когда у него было назначено свидание в одной киностудии в дальнем пригороде Лондона, довелось ему столкнуться со столь чудовищными препятствиями. Впору было подумать, будто все секреты всех служб запрятаны в эту громоздкую массу каменной кладки. Эмброуза пустили лишь тогда, когда сам Бентли, вызванный в проходную, удостоверил его личность.

– Нам приходится соблюдать крайнюю осторожность, – сказал Бентли.

– Почему?

– К нам приходит слишком много людей. Вы не можете себе представить сколько. Это ужасно затрудняет нашу работу, – А в чем состоит ваша работа, Джеффри?

– Главным образом в том, чтобы отсылать посетителей, которые хотят видеть меня, к тем, кого они не хотят видеть. Я никогда не любил пишущих людей – разумеется, мои личные друзья не в счет, – добавил он, – Я и не подозревал, что их такая уйма. Наверное, если подумать хорошенько, это и объясняет, почему на свете так много книг. Ну, а я никогда не любил книг – разумеется, книги моих личных друзей не в счет.

Они поднялись на лифте и, проходя по широкому коридору, обошли стороной Безила. Он разговаривал на каком-то иностранном языке, состоящем сплошь из отхаркиваний, с болезненного вида человеком в феске.

– Этот не входит в число моих личных друзей, – с горечью сказал Бентли.

– Он здесь работает?

– Не думаю. В отделе Ближнего Востока вообще никто не работает. Просто шляются без дела и болтают.

– Традиция восточного базара.

– Традиция министерств. Вот моя каморка.

– Они достигли двери бывшей химической лаборатории и вошли. В углу комнаты была белая фарфоровая раковина, в которую монотонно капала вода из крана. Посередине, на застланном

линолеумом полу, стоял ломберный стол и два складных стула. У себя в издательстве Бентли восседал под потолком, расписанным Ангелиной Кауфман, среди тщательно подобранной мебели в стиле ампир.

– Как видите, приходится устраиваться по-скромному, – сказал он. – Я велел поставить здесь вот эти, чтобы придать комнате более человеческий вид.

«Эти» были два мраморных бюста работы Ноллекенса^[29], на взгляд Эмброуза, более человеческой комната Бентли от них не стала.

– Вам не нравится? Вы должны помнить их по Бедфордсквер.

– Мне они очень нравятся. Я прекрасно их помню, но не кажется ли вам, дорогой Джеффри, что здесь от них веет чем-то похоронным?

– Да, – грустно проговорил Бентли. – Да. Я понимаю, что вы хотите сказать. Здесь они и вправду раздражают служащих.

– Раздражают?

– До умопомрачения. Вот, взгляните. – Он протянул Эмброузу длинную, отпечатанную на машинке памятную записку, озаглавленную «Мебели – нежелательность сверх служебных потребностей». – Ну, а я отослал им вот это.

– Он протянул еще более длинное послание, озаглавленное «Произведений Искусства, способствующих душевному спокойствию, отсутствие в помещениях консультантов». – И получил сегодня вот это. «Цветов, обрамленных фотографий, а также прочих мелких украшений и массивных мраморных монументов и мебели красного дерева декоративными особенностями различие между». Как видите, ярость прорывается тут аллитерациями. На этом пока все и засохло, но вы понимаете, как невероятно трудно тут что-нибудь пробить?

– И, наверное, едва ли имело смысл объяснять, что о Ноллекенсе написана одна из замечательнейших биографий на английском языке?

– Нет, конечно.

– Да, вам приходится работать среди ужасных людей. Вы мужественный человек, Джеффри. Я бы такого не вынес.

– Господи помилуй, Эмброуз, зачем же вы сюда пришли?

– Пришел просто проведать вас.

– Ну да, все приходят проведать, только при этом рассчитывают устроиться к нам на работу. Так что уж лучше вам сразу и подать заявление.

– Нет, нет.

– Смотрите, как бы вам не пришлось пожалеть. Мы все ругаем нашего старого министра, но у нас уже немало приличных людей, и мы что ни день проталкиваем новых. Смотрите, пожалеете.

– Я вообще ничего не хочу делать. Я считаю всю эту войну безумием.

– Ну так напишите для нас книгу. Я издаю очень милую серию «За что мы сражаемся» и уже подрядил адмирала в отставке, англиканского викария, безработного докера, стряпчего-негра с Золотого Берега и врача-ушника с Харли-стрит. Сперва-то я думал просто о сборнике статей на общую тему, но потом пришлось несколько расширить первоначальный замысел. Дело в том, что у авторов оказались до того различные взгляды, что это повело бы к путанице. Но мы отлично могли бы всунуть вас в серию. «Я всегда считал войну безумием». Вот и еще одна точка зрения.

– Но ведь я и сейчас считаю войну безумием.

– Да, да, – произнес Бентли, и его внезапный порыв угас. – Я понимаю.

Дверь открылась, и в комнату вошел серенький педантичный человечек.

– Прошу прощения, – холодно сказал он. – Вот уж не ожидал застать вас за делом.

– Это Эмброуз Силк. Надеюсь, вы знакомы с его творчеством.

– Нет.

– Нет? Он задумал написать книгу для нашей серии «За что мы сражаемся». Это сэр Филип Хескет-Смидерс, заместитель начальника нашего отдела.

– Извините, я отвлеку вас на минуту. Я по поводу памятной записки РК 1082 Б4. Начальник очень обеспокоен.

– Это «Документов, секретных, уничтожение посредством сжигания»?

– Нет, нет. Это та, что декоративные особенности мраморных монументов.

– «Массивные мраморные монументы и мебель красного дерева»?

– Вот, вот. Только красное дерево к вашему; подотделу не относится. Имелся в виду *pré-dieu*^[30] в отделе религии. Наш

консультант по англиканской церкви принимает там исповеди, и начальник очень озабочен. Нет, к вам я насчет этих... изображений.

– Вы имеете в виду моих Ноллекенсов?

– Вот эти большие статуи. Это никого не устраивает, Бентли, вы сами знаете, что не устраивает.

– Кого именно не устраивает? – спросил Бентли воинственно.

– Начальника отдела. Он полагает, и совершенно справедливо, что портреты с личными воспоминаниями...

– Эти полны для меня самых нежных воспоминаний.

– Портреты родственников...

– Это мои семейные портреты.

– Нет, серьезно, Бентли. Ведь это же Георг Третий?

– Мой дальний родственник, – иронически-вежливо ответил Бентли. – По материнской линии.

– А миссис Сиддонс?^[31] – Родственница чуть поближе со стороны отца.

– О!.. – сказал Филип Хескет-Смидерс. – О! Я не знал... Я объясню начальнику. Но я уверен, – подозрительно добавил он, – что подобное обстоятельство совершенно не приходило ему в голову.

– Съел, – сказал Бентли, когда дверь за сэром Филипом захлопнулась. – Еще как съел. Я рад, что вам довелось увидеть эту маленькую стычку. Теперь вы понимаете, с чем нам приходится бороться. Ну, а теперь о вас. Как бы это вас всунуть в наше маленькое хозяйство...

– Но я вовсе не хочу никуда всовываться.

– Вы для нас просто клад. Что, если в отдел религии, а? Мне кажется, атеизм там недостаточно представлен.

Из-за двери высунулась голова Филипа Хескет-Смидерса. – Ради бога, скажите мне, в каком именно родстве вы с Георгом Третьим? Простите, что я спрашиваю, но начальник непременно поинтересуется.

– Побочная дочь герцога Кларенса Генриетта сочеталась браком с Джервесом Уильбремом из Актона – излишне напоминать, что в то время Актон был просто-напросто деревней. Его дочь Гертруда сочеталась браком с моим дедом по матери. Он, между прочим, трижды избирался мэром Чиппенема и обладал значительным

состоянием, которое теперь, увы, все промотано... Похоже, еще раз съел, – добавил он, когда дверь закрылась.

– Это правда?

– Что мой дед был мэром Чиппенема? Сушая правда.

– Нет, насчет Генриетты?

– Так всегда думали у нас в семье, – ответил Бентяи.

В другой ячейке этого гигантского улья Безил излагал план аннексии Либерии.

– На каждого плантатора-англичанина там приходится четырнадцать немцев. У них организация по нацистскому образцу. Они ввозят оружие через Японию и только ждут сигнала из Берлина, чтобы захватить власть. Если Монровия окажется в руках врага и там будут базироваться подводные лодки, наш западный торговый путь будет перерезан. Тогда немцам останется лишь блокировать Суэцкий канал – а они могут это сделать из Массавы в любой момент, – и Средиземное море будет для нас потеряно. Либерия – наше единственное слабое место в Западной Африке. Мы должны вступить в нее первыми. Так или не так?

– Да, да, все так, не понимаю только, почему вы обращаетесь с этим ко мне.

– Так ведь вам же придется заниматься подготовительной пропагандой на месте и последующими объяснениями в Америке.

– Почему именно мне? Этим должен заниматься отдел Ближнего Востока. Вам следует обратиться к мистеру Полингу.

– Мистер Полинг послал меня к вам.

– Вот как? Интересно почему. Сейчас спрошу. Несчастный чиновник взял трубку и, после того как его соединили последовательно с отделом кино, теневым кабинетом Чехословакии и гражданской противовоздушной обороной, сказал:

– Полинг, у меня тут некто по имени Сил. Говорит, Ты послал его ко мне.

– Ну, послал.

– А почему?

– А кто послал ко мне утром этого жуткого турка?

– Ну, это были просто детские игрушки.

– Так тебе и надо, будешь знать, как посылать ко мне разных турок.

– Ну погоди же, я тебе еще не то пришлю... Так вот, – оборачиваясь к Безилу, – Полинг ошибся. Вашим делом действительно должен заниматься он. Проект в высшей степени интересный. Жаль, что не могу ничем вам помочь. Знаете, кто, по-моему, с интересом выслушает вас? Дигби-Смит. На нем лежит пропаганда и подрывная деятельность в тылу противника, а Либерия, судя по тому, что вы рассказали, фактически является вражеским тылом.

Дверь отворилась, и в комнату, сияя улыбкой, вошла всклокоченная бородатая фигура в черной рясе; на груди вошедшего висел золотой крест; преподобную голову венчал цилиндр без полей.

– Я архимандрит Антониос, – сказал он. – Я входить пожалуйста?

– Входите, ваше высокопреподобие. Садитесь, пожалуйста.

– Я говорил, как меня изгнаняли из София. Они сказали, я должен говорить вам.

– Вы были в нашем отделе религии?

– Я говорил священникам вашей контора о моем изгнании. Болгары говорят, это за блудодеяния, но это за политика. Из София не изгнаняют просто за блудодеяния, а только вместе с политика. Так что теперь я союзник великобритан, раз болгары говорят, что за блудодеяния.

– Да, да, я вас вполне понимаю, только это не по нашему отделу.

– Вы не ведаете дела болгаров?

– Ведаю, но, мне кажется, ваше дело позволяет поднять более важный вопрос. Вам следует обратиться к мистеру Полиngu. Я позабочусь о том, чтобы вас проводили. Мистер Полинг занимается исключительно такими делами.

– Это так? У вас есть здесь отдел блудодеяний?

– Да, вы свободно можете назвать его так.

– Я нахожу это хорошо. В София такого отдела нет. Его преподобие был отослан по назначению.

– Так вы, стало быть, хотите видеть Дигби-Смита?

– Разве?

– Несомненно. Либерия его в высшей степени заинтересует.

Явился еще посыльный и увел Безила. В коридоре их остановил щуплый низкорослый человек с чемоданом в руке.

– Прошу прощения, вы не скажете, как мне попасть в Ближний Восток?

– Это здесь, – ответил Безил. – Вот здесь. Только толку вы там не добьетесь.

– О, их не может не заинтересовать то, что у меня вот тут. Этим всякий заинтересуется. Бомбы. Тем, что у меня вот тут, можно снести крышу со всей этой лавочки, – сказал сумасшедший. – Таскаю их с места на место с того самого дня, как началась эта чертова война, и часто думаю, ну хоть бы они вдруг взорвались.

– Кто послал вас на Ближний Восток?

– Какой-то малый по имени Смит, Дигби-Смит. Очень интересовался моими бомбами.

– А у Полинга вы уже были?

– У Полинга? Был вчера. Очень интересовался моими бомбами. Ими все интересуются, можете мне поверить. Он-то и посоветовал мне показать их Дигби-Смиту.

Бентли подробно распространялся о трудностях и безобразиях жизни бюрократа.

– Если б не журналисты и чинуши, – говорил он, – все было бы совсем просто. Этот народ полагает, будто министерство существует только для их удобства. Конечно, строго говоря, мое дело – книги, мне не следовало бы связываться с журналистами, но все спихивают их на меня, как только теряют с ними терпение. И не только журналистов. Сегодня утром у меня был человек с полным чемоданом бомб.

– Джеффри, – произнес наконец Эмброуз. – Как по-вашему, про меня можно сказать, что я довольно известный левый писатель?

– Ну, разумеется, дорогой коллега. Очень даже известный.

– Именно левый?

– Разумеется. Очень даже левый.

– Известный именно вне левого крыла?

– Ну конечно. А что?

– Так просто.

Тут их на несколько минут прервал американский военный корреспондент. Он требовал, чтобы Бентли подтвердил слух о польской подводной лодке, будто бы зашедшей в Скапа-Флоу^[32]; выдал ему пропуск, чтобы он мог попасть туда и во всем убедиться

самолично; обеспечил его переводчиком с польского; объяснил, какого черта о подводной лодке сообщили этому недомерку Паппенхакеру из треста Херста, а не ему самому.

– О господи, – сказал Бентли. – Почему вас прислали ко мне?

– Похоже я прикреплен к вам, а не к пресс-бюро.

Выяснилось, что это так. Как автор «Нацистской судьбы» – исторического сочинения для массового читателя, разошедшегося баснословным тиражом по обе стороны Атлантики, корреспондент числился в списках литераторов, а не журналистов.

– Ну что же, – сказал ему Бентли. – У нас в стране литераторы котируются гораздо выше журналистов.

– Смогу я в качестве литератора попасть в Скапа-Флоу?

– Нет.

– Смогу я в качестве литератора получить польского переводчика?

– Нет.

– Ну так на кой черт мне значиться литератором?

– Я переведу вас, – сказал Бентли. – Ваше место в прессбюро.

– Один молодой нахал там, в бюро, плядит на меня словно на дерьмо кошачье, – пожаловался автор «Нацистской судьбы».

– Он перестанет, как только вы прикрепитесь к нему. Позвольте спросить, раз уж вы тут, вы не взяли бы написать для нас книгу?

– Нет.

– Нет? Ну что ж, желаю вам благополучно добраться до Скапа-Флоу... Он не попадет туда, – добавил Бентли, как только корреспондент закрыл за собой дверь. – Ни за что не попадет, можете быть абсолютно уверены. Вы читали его книгу? Чрезвычайно плулая книга. Он утверждает, что Гитлер тайно женат на еврейке. Не знаю, чего он там еще понапишет, если пустить его в Скапа-Флоу.

– А что он скажет, если его не пустят?

– Не сомневаюсь – что-нибудь очень оскорбительное. Но мы не будем за это отвечать. По крайней мере, я так думаю.

– Джефри, когда вы говорите «известный левый писатель», означает ли это, что, если фашисты придут у нас к власти, я окажусь в их черных списках?

– Ну конечно, дорогой коллега.

– Они творили чудовищные вещи над левыми интеллигентами Испании.

– Ну да.

– И творят сейчас в Польше.

– Да, так говорят у нас в отделе печати.

– Я понимаю.

Тут на минуту заглянул архимандрит. Он с величайшей охотой брался написать книгу о происках стран оси в Софии.

– Вы думаете, – это поможет привлечь Болгарию на нашу сторону? – спросил Бентли.

– Я плюю в лицо болгаров, – ответил его высокопреподобие.

– Я уверен, что он смог бы написать очень хорошую автобиографию, – сказал Бентли, когда святой отец ушел. – В мирное время я бы заключил с ним договор.

– Джеффри, вы серьезно полагаете, что я попаду в черный список как левый интеллигент?

– Совершенно серьезно. Вы откроете список. Вы, Парснип и Пимпернелл.

Эмброуз вздрогнул при звуке знакомых имен.

– Им-то что, – сказал он. – Они в Америке.

Безил и Эмброуз встретились при выходе из министерства. Они задержались на минуту, наблюдая живую сценку объяснения между автором «Нацистской судьбы» и полисменом у проходной; оказалось, американец в припадке раздражения разорвал клочок бумаги, по которому его впустили, и теперь его не хотели выпускать.

– Ему можно посочувствовать, – сказал Эмброуз. – Не то это место, где бы мне хотелось проторчать до конца войны, – Мне предложили здесь работу, – соврал Безил.

– Нет, это мне предложили работу, – ответил Эмброуз.

Они пошли вместе сумрачными улицами Блумсбери.

– Как поживает Пупка? – после некоторого молчания спросил Безил.

– После вашего исчезновения она прямо-таки воспряла духом. Пишет картины, как паровоз, – Надо будет заглянуть к ней как-нибудь. Последнее время я был занят. Вернулась Анджела. Куда мы идем?

– Не знаю. Мне некуда идти.

– Это мне некуда идти.

На улице уже тянуло вечерней прохладой.

– На прошлой, не то позапрошлой неделе меня чуть было не произвели в гвардейские бомбардиры, – сказал Безил.

– Когда-то один мой большой друг служил в бомбардирах капралом.

– Не заскочить ли нам к Трампингтонам?

– Я не виделся с ними целую вечность.

– Ну так поехали. – Безилу нужно было, чтобы кто-нибудь заплатил за такси.

Войдя в маленький дом на Честер-стрит, они застали там только Соню. Она укладывала вещи.

– Аластэра нет, – объяснила она. – Ушел в армию – рядовым. Ему сказали: таким старым офицерского звания не дают.

– Боже мой, как это напоминает четырнадцатый год!

– Я выезжаю к нему. Он под Бруквудом.

– Вам там будет чудесно рядом с Некрополем, – сказав Эмброуз. – Прелестнейшее место. Господи боже, три пивных да кладбище, прямо среди могил. Я спрашивал у буфетчицы, сильно ли нагружаются родственники умерших, и она сказала: «Нет. Вот когда приходят снова, посидеть на могилке, тогда, похоже, им без этого трудно». А еще, знаете ли, у артели бывших военнослужащих есть там особое место для погребений. Если Аластэр отличится, его могут сделать почетным членом...

Эмброуз болтал без умолку. Соня укладывала вещи. Безил искал взглядом бутылки.

– Выпить нет?

– Все упаковано, милый. Ты уж извини. Но ведь можно куда-нибудь пойти.

Чуть позже, когда с упаковкой было покончено, они прошли по затемненным улицам в бар. Там к ним присоединилось еще несколько знакомых.

– Мой проект аннексии Либерии никого не заинтересовал.

– Скоты.

– У людей нет воображения. А принимать подсказку от постороннего они не желают. Понимаешь ли, Соня, война становится

чем-то вроде огороженных мест на ипподроме только для членов клуба. Если у тебя нет значка, тебя просто не впускают.

– Мне кажется, и у Аластэра было такое же ощущение.

– Ладно, война будет затяжной. Спешить некуда. Подожду, пока не подвернется что-нибудь занятное.

– Боюсь, от этой войны ничего такого ждать не придется. Вот и весь их разговор, думал про себя Эмброуз; о работе да о том, какой будет война. Война в воздухе, война на измор, танковая война, война нервов, пропагандистская война, война а глубокой обороне, маневренная война, народная война, тотальная война, нераздельная война, война неограниченная, война непостижимая, война сущностей без акциденций и атрибутов, метафизическая война, война в пространстве-времени, вечная война... Всякая война – абсурд, думал Эмброуз. Не нужна мне их война. Меня война не прищемит. Но будь я одним из них, думал Эмброуз, не будь я евреем-космополитом, мармеладным папашкой, не будь я олицетворением всего того, что имеют в виду фашисты, говоря о «дегенератах», не будь я единственным, трезво мыслящим индивидом, будь я частью стада, одним из них, нормальным и ответственным за благополучие моего стада, прах меня раздери, думал Эмброуз, так бы я и стал рассиживать и разглагольствовать о том, какой будет война. Я бы сделал ее войной на мой лад. Я бы что есть мочи принялся убивать и топтать то враждебное стадо. Еж вас забодай, думал Эмброуз, уж в моем-то стаде никто из животных не шнырял бы в поисках занятой работы.

– Берти надеется устроиться контролером горячего на Шетландских островах.

– Элджернон отправился в Сирию с чрезвычайно секретным заданием.

– Бедняга Джон пока еще без места.

Мать честная, думал Эмброуз, ну и стадо.

Опадали листья, город затемнялся все раньше и раньше, осень перешла в зиму.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Зима наступила суровая. Польша была разбита; на западе в на востоке пленных увозили в рабство. Английская пехота валила деревья и рыла траншеи вдоль бельгийской границы. Высокопоставленные визитеры пачками наезжали на линию Мажино и возвращались с памятными медалями, словно после паломничества. Белишу прогнали; радикальные газеты подняли крик, Требуя его возвращения, затем вдруг умолкли. Россия вторглась в Финляндию, и все газеты были полны сообщений об армиях в белых халатах, рыскающих в лесах. Английские солдаты-отпускники рассказывали о хитрости и дерзости фашистских патрулей, о том, насколько лучше поставлена светомаскировка в Париже. Многие заявляли спокойно и твердо, что Чемберлен должен уйти в отставку. Французы говорили, что англичане несерьезно относятся к войне, министерство информации говорило, что французы относятся к войне слишком серьезно. Сержанты, обучающие солдат, жаловались на нехватку учебных пособий.

Как можно научить человека трем правилам прицеливания, не имея ручной указки?

Опали листья и в подъездной аллее Мэлфри, и если обычно их убирали двенадцать мужчин, в этом году уборщиков было четверо мужчин и два мальчика. Фредди, по его собственному выражению, «несколько умерил свой пыл». Салон с отделкой Гринлинга Гиббонса и окружавшие его гостиные и галереи были закрыты и заколочены, ковры свернуты, мебель обтянута чехлами, канделябры укутаны в мешки, окна закрыты ставнями, а ставни приперты засовами; прихожая и лестница стояли темные и пустые. Барбара жила в маленькой восьмиугольной гостиной окнами в цветник; детскую она перевела в спальню рядом со своей; часть дома, называвшаяся «холостяцкое крыло» в викторианскую эпоху, когда холостяки были крепышами и запросто мирились с неприхотливостью барачников и общежития при колледжах, была отдана эвакуированным. Фредди

приезжал побаловаться охотой. Своих гостей в этом году он помещал в разных местах: одного на ферме, троих в доме управляющего, двоих в гостинице. Сейчас, в конце сезона, он пригласил нескольких однополчан пострелять тетеревов; добычи в охотничьих сумках было мало, и все больше тетерки.

Когда Фредди приезжал на побывку, пускалось центральное отопление. Остальное время в доме царил жестокий холод. Отопление работало по принципу все или ничего; оно никак не хотело обогреть один только угол, в котором уютилась Барбара, а непременно должно было с туканьем и бульканьем гнать воду по всей многометровой системе труб, ежедневно пожирая возы кокса. «Хорошо еще, у нас полно дров», – говаривал Фредди. Сырые, не вылежавшиеся чурки, приносимые из парка, едва тлели в каминах. Чтобы согреться, Барбара забиралась в оранжерею. «Там надо подтапливать, – говаривал Фредди. – Там у нас всякая редкая штукovina. Ботаник из Кью утверждает, что есть даже лучшие экземпляры во всей стране». И вот Барбара перенесла туда свой письменный стол и нелепо восседала среди тропической зелени, в то время как снаружи, за колоннадой, стыла земля и деревья белели на свинцовом небе.

Затем, за два дня до рождества, полк Фредди перебросили в другое место. Там совсем рядом у его знакомых был просторный дом, и он проводил конец недели с ними; трубы отопления теперь никогда не прогревались, и стужа в доме из простого отсутствия тепла стала чем-то грозно присутствующим. Вскоре после рождества разразился сильный снегопад, и вместе со снегом явился Безил.

Он явился, как обычно, без предупреждения. Барбара, писавшая письма под сенью папоротников и пальм, подняла глаза и увидела его в проеме застекленной двери. С радостным вскриком она подбежала и поцеловала его.

– Это просто чудесно, милый! Ты надолго?

– Да. Мать сказала, ты сейчас одна.

– Дай подумаю, где же это тебя поместить... Тут у нас все так необычно. Надеюсь, ты никого с собой не привез?

Безил, как правило, являлся не только без приглашения, но и \$ компании нежелательных друзей; это была одна из основных жалоб Фредди.

– Нет, никого. У меня сейчас никого нет. Я приехал писать книгу.

– Ах, Безил! Бедняжка! Неужто так плохо дело?

Между братом и сестрой многое разумелось без слов. Уже не первый год, когда дела у Безила обстояли из рук вон плохо, он садился писать книгу. Это была грань капитуляции, и тот факт, что все его творения: два романа, книга путевых заметок, биография, труд по современной истории – не шли дальше первых десяти тысяч слов, свидетельствовал лишь о неистощимой жизнерадостности его натуры.

– Книгу по стратегии, – сказал Безил. – Мне осточертело вколачивать идеи в головы тех, кто стоит у власти. Единственный выход – это обратиться через их головы к мыслящей публике. Я буду развивать главным образом доводы в пользу аннексии Либерии, но затрону и другие животрепещущие вопросы. Трудно будет только вовремя выпустить книгу, чтобы она успела оказать воздействие на умы.

– Мама говорила, ты хотел поступить в гвардейские бомбардиры.

– Верно, только из этого ничего не вышло. Мне сказали, они берут только молодых. Типичный армейский парадокс. Нам говорят, что мы слишком стары и нас призовут через два года. Я скажу об этом в книге. Ведь логичнее всего поскорее послать на убой старичков, пока еще в них дух держится. И не только о стратегии я буду говорить. Я набросаю генеральную линию для всего народа.

– Ну, все равно я рада тебя видеть. Мне так одиноко, – Это мне одиноко.

– Что нового у знакомых?

– Знаю, ты об Анджеле. Она уехала домой.

– Домой?

– Ну да, в тот дом, что мы обычно Называем Бзиком Седрика. На самом-то деле это ее бзик. Седрик вернулся в армию. Трудно поверить, но, похоже, в молодости он был лихим офицером. Так вот, дом, бандюга сын, а тут еще власти решили разместить в доме госпиталь – все одно к одному, и Анджеле пришлось вернуться, будет присматривать за всем сама. Там теперь кровать на кровати, сиделки и врачи – поджидают жертв воздушных налетов, а когда у женщины в поселке случился аппендицит, ее повезли оперировать за сорок миль, потому что она не жертва, ну, она и умерла в дороге. Анджела начала по этому поводу целую кампанию, и я просто удивлюсь, если она ничего не добьется. Похоже, она пришла к мысли, что мне следует

погибнуть на фронте. Мать того же мнения. Чудно как-то. В былые времена, когда меня и впрямь не раз хотели взять к ногтю, всем было наплевать. А теперь, когда я не своей волей живу в праздности и безопасности, они видят в этом что-то постыдное.

– И у тебя не было новых девушек?

– Была одна, по имени Пупка Грин. Тебе бы она не понравилась. Мне жилось очень скучно. Аластэр в Бруквуде, служит рядовым. Я ездил к ним. У них с Соней отвратная вилла, у самой площадки для игры в гольф, и он всегда там, когда не на службе. Он говорит, что самое худшее в службе – это развлечения. У них это два раза в неделю, все равно что в наряд. Сержант всегда выбирает Аластэра и при этом каждый раз шутит: «Пошлем нашего жуира». В остальном, говорит Аластэр, у них все по-компанейски и непыльно. Питер попал в секретные части, их натаскивают для войны в Арктике. У них был большой отпуск, они тренировались на лыжах в Альпах. Ну, Эмброуза Силка ты, наверное, не помнишь. Он задумал издавать новый журнал, чтобы не умирала культура.

– Бедный ты, бедный... Ну ладно, одна надежда, что тебе не придется долго сидеть над книгой.

Многое, очень многое разумелось без слов между братом и сестрой.

Безил начал свою книгу в тот же вечер, точнее говоря, лег на коврик перед столбом дыма, валившего из камина в восьмиугольной гостиной, и отстукал на машинке перечень предположительных названий.

Слово к неразумным.

Продрома гибели.

Берлин или Челтенем: что выберет генеральный штаб?

Политика или генеральство: несколько неприятных вопросов штатского к профессиональным солдатам.

Политика или профессионализм.

Тонкое искусство побеждать.

Былое искусство побеждать.

Как выиграть войну за шесть месяцев: простой учебник для честолюбивых солдат.

Все они выглядели недурно в его глазах, и, любуясь списком, Безил снова, в который уже раз за последние четыре месяца, поражался тому, как это человеку его способностей не находится работы в нынешние-то времени. Ну где же тут победить, думал он.

Барбара сидела рядом с ним и читала. Услышав его вздох, она вытянула руку и с сестринской нежностью погладила его по волосам.

– У нас страшно холодно, – сказала она. – Не знаю, может, стоит затемнить оранжерею. Тогда можно бы сидеть там по вечерам.

Внезапно в дверь постучали, и в гостиную вошла закутанная пожилая женщина в отделанных мехом перчатках; в руках у нее был электрический фонарик, старательно заклеенный папиросной бумажкой; нос ее был красен, глаза слезились; она топала высокими резиновыми ботами, отрясая с них снег. Это была миссис Фремлин. Только дурная весть могла заставить ее выйти из дому в такую ночь.

– Я вошла сразу, – ненужно пояснила она. – Не хотела дожидаться на холоде. У меня дурная новость: вернулись Конноли.

Это и правда была дурная новость. За те несколько часов, что Безил пробыл в Мэлфри, он уже немало наслушался о Конноли.

– О господи, – сказала Барбара. – Где они?

– Там, в прихожей.

Устройство эвакуированных проходило в Мэлфри примерно тем же порядком, что и по всей стране, и в силу этого обстоятельства Барбара, исполнявшая обязанности квартирера, была не только постоянно занята, но и превратилась за последние четыре месяца из пользующейся всеобщей любовью женщины в фигуру поистине устрашающую. Завидев ее машину, люди ударялись в бег по укрытым путям отхода, через боковые двери и конюшенные дворы, прямо по снегу, куда угодно, лишь бы не слышать ее проникновенного «вы, безусловно, сможете устроить у себя еще одного. На сей раз это мальчик, очень послушный мальчуган», ибо городские власти старательно поддерживали приток беженцев, с лихвой покрывавший убыль от возвращающихся к родным местам недовольных. Не многие из женщин, угрюмо сидевших на лужайке в первое утро войны, оставались теперь в деревне. Некоторые уехали обратно немедленно, другие без большой охоты последовали за ними, встревоженные гадкими слушками о проделках своих мужей; одна вообще оказалась

мошенницей: не имея собственных детей, она похитила из коляски чужого ребенка, чтобы обеспечить свою безопасность, до такой степени напугала ее агитация местных властей. Теперь на лужайке, уже не так угрюмо, собирались все больше дети, являя сельчанам сценки жизни в другой части света. С ними мирились как с неудобством военного времени, а иные даже снискали любовь своих хозяев. Но все местные жители, когда заходил общий разговор об эвакуированных, словно по молчаливому уговору избегали упоминаний о семействе Конноли.

Они явились как стихийное бедствие, без какого-либо видимого человеческого содействия; их имена не значились ни в одном списке; при них не было никаких документов, за них никто не отвечал. Их нашли в поезде, после того как все пассажиры вышли, в вечер первого наплыва – они прятались под сиденьями. Их вытащили и поставили на платформе, но никто из прибывших их не знал, и так как оставить их на станции было нельзя, их включили в группу, отправляющуюся автобусом в Мэлфри. С этого момента они числились в списке; они получили официальное признание, и их судьба нерасторжимо переплелась с судьбой Мэлфри.

Происхождение Конноли навсегда осталось покрыто тайной. Когда угрозами или уговорами удавалось заставить их говорить о своем прошлом, они с отвращением говорили о «тетке». По-видимому, к этой женщине война пришла как посланное самим богом избавление. Она привезла своих иждивенцев на вокзал, сунула в бурлящую толпу малолеток и поспешила замести следы, тотчас же съехав тайком с квартиры. Полицейское расследование в квартале, где, по словам Конноли, они проживали, установило лишь один факт: женщину эту видели там раньше, а теперь ее там нет. Она задолжала какую-то мелочь молочнице. Других воспоминаний в том не шибко впечатлительном квартале она не оставила.

Первой шла Дорис, сочно половозрелая, которой, по ее собственным разноречивым показаниям, могло быть и десять лет, и восемнадцать. Предпринятая с налету хитроумная попытка выдать ее раньше времени за взрослую была опротестована врачом, который при обследовании дал ей не больше пятнадцати. У Дорис были темные, пожалуй, даже черные, коротко подстриженные волосы, большой рот и темные свинячьи глазки. Было что-то эскимосское в ее лице, но на

щеках ее играл румянец, а обхождения она была самого резвого, что уж никак не свойственно представителям этой почтенной расы. Фигура у нее была приземистая, бюст пространный, а походка, перенятая прямо с экрана, имела целью обольщать.

Мики, младше ее на срок довольно строгого приговора за кражу со взломом, был более сублильного телесного склада, – худощавый, постоянно нахмуренный маленький человечек, дитя хоть и немногословное, но достаточно сквернословное.

Марлин, как полагали, была еще на год младше. Если б не яростные опроверженья Мики, они могли бы сойти за близнецов. Она была плодом необычно затянувшегося периода совместного пребывания на свободе ее родителей – периода весьма прискорбного с точки зрения социолога, ибо Марлин была дурочка. Просьба о выдаче ей свидетельства в слабоумии была отклонена тем же врачом, который высказал мнение, что жизнь в деревне может сотворить с ребенком чудеса.

И вот в канун войны эти трое детей стояли в доме общины в Мэлфри, один плотоядно усмехаясь, другой набычившись, третий пуская пузыри, и семейки более несимпатичной едва ли можно было сыскать во всем Объединенном королевстве. Барбара взглянула на них раз, взглянула другой, как бы желая убедиться, что натруженные глаза не обманывают ее, и определила их к Маджам из Верхнего Лэмстока – в крепкую семью арендаторов, хозяйствовавших на отдаленной ферме.

А неделю спустя сам Мадж явился в парк, привезя с собой всех троих в кузове грузовика для доставки молока.

– Не обо мне речь, миссис Сотидл. Меня весь день нету дома, а под вечер я совсем сонный, да и то сказать, все со скотами да со скотами, так что мне-то все нипочем. Дело в моей старушке. Ее так припекло, что она взбунтовалась. Заперлась в верхних комнатах и говорит, что не спустится вниз до тех пор, покуда они не уберутся, и уж коли она так говорит, то так и будет, миссис Сотилл. Мы готовы помочь войне, только чтобы по разуму, а терпеть у себя эти отродья больше не можем, вот и весь мой сказ.

– О господи, кто же из них доставляет беспокойство, мистер Мадж?

– Да все они, мэм. Взять хотя бы мальчишку – он показался сначала вроде как получше остальных, хоть и не понять было, что он такое болбочет, такой уж у них там говор, в его родных-то местах. Так вот, значит, сразу было видать, что он сквернавец и нелюдим, но он все же не делал ничего такого пакостного, покуда я не забил гуся. Я позвал его на двор, чтобы он посмотрел и... ну, развлекся, что ли, и он-таки изрядно заинтересовался, так что я даже подумал, я еще сделаю из тебя парня что надо. Я дал ему голову поиграть, и он вроде как остался доволен. Ну, а потом, только я ушел на свекольное поле, он, лопни мои глаза, добрался до ножа, и вот прихожу я к ужину домой – шесть моих уток мертвые лежат, я наш старый кот тоже. Да, мэм, лопни мои глаза, если вру, он снял голову с нашего старого рыжего кота. Ну, а потом их меньшая – прошу прощения, мэм, это грязная девчонка. Мало сказать, она мочится в постель – она мочится везде, на стульях, на полу, и не только мочится, мэм. Похоже, родители-то никогда ее не учили, как надо соблюдать себя в доме.

– А разве старшая-то девочка ничем не помогает?

– Ежели хотите знать, мэм, так она хуже всех из их выводка. Моя старуха слова бы не сказала, ежели б не она. Дорис-то и понимает ее лучше тех двух. Слаба по мужской части, мэм. Она даже ко мне подбивается, а я ведь ей в деда гожусь. Ну и на минуту не отстает от нашего Вилли, а он, Вилли-то, парень стеснительный, вот и никак не идет у него на лад работа, когда она к нему подступается. Такие вот дела, мэм. Мне очень огорчительно, что не могу вас уважить, только я обещал старушке с ними не возвращаться, и я от своего слова не отпрусь.

Мадж был первый, за ним последовали другие. Срок пребывания Конноли на одном месте никогда не превышал десяти дней, а в иных случаях сводился к часу с четвертью. Через шесть недель слава о них разнеслась далеко за пределы прихода. Когда влиятельные старцы на скачках в Лондоне, сблизясь головами, начинали шушукаться: «Вся эта затея была ошибкой с начала до конца. Вчера вечером мне довелось услышать, как ведут себя эвакуированные...» – можно было ручаться, что скандал начался с Конноли. На них ссылались в Палате общин, им посвящались абзацы в официальных отчетах.

Барбара пыталась разделить их, но в первую же ночь разлуки Дорис сбежала через окно своей комнаты и два дня пропадала

неизвестно где; ее нашли в амбаре за восемь миль от дома, оплущенную сидром; объяснить мало-мальски связно, что с нею приключилось, она не могла. Мики в тот же вечер укусил жену дорожного рабочего, к которому был определен на постой, так что пришлось вызывать медсестру из района, а с Марлин случился какой-то припадок, породивший несбывшиеся надежды на ее скорую кончину. Все сходились на том, что единственно подходящим местом для Конноли должно быть «заведение», и в конце концов перед самым рождеством, после, формальностей, осложненных неясностью их происхождения, в заведение они были отосланы, и; Мэлфри, успокоившись, взялась развлекать своих гостей елкой и фокусником со вздохом, облегченья, который был слышен на много миль окрест. Казалось, будто после кошмарной ночи прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. И вот Конноли снова здесь.

– Что случилось, миссис Фремлин? Не мог же приют, их отослать.

– Он эвакуирован. Все дети разосланы по тем местам, откуда их привезли. Для Конноли у них был единственный адрес – Мэлфри, и вот они тут. Женщина из организации культурно-бытового устройства привезла их в дом общины. Я была там с девочками-скаутами и сказала, что приведу их к вам.

– Хоть бы они предупредили.

– Наверное, думали, что будь у нас время, мы бы постарались от них отделаться.

– И правильно думали. Конноли накормлены?

– Похоже, что так: Марлин сильно рвало в машине.

– Смерть как хочу увидеть этих Конноли, – сказал Безил.

– Сейчас увидишь, – мрачно пообещала сестра. Однако в прихожей, где оставили Конноли, их не оказалось. Барбара дернула за шнур звонка.

– Бенсон, вы помните Конноли?

– Как сейчас, мадам.

– Они снова здесь.

– Здесь, мадам?

– Здесь. Где-то в доме. Следовало бы начать розыски.

– Слушаюсь, мадам. А когда они найдутся, их тотчас отошлют?

– Не тотчас. Они останутся у нас на ночь. Утром мы подыщем для них место в деревне.

Бенсон помедлил в нерешительности.

– Это будет нелегко, мадам.

– Да, нелегко, Бенсон.

Бенсон снова помедлил, как бы желая что-то сказать, затем передумал и только добавил:

– Я приступлю к розыскам, мадам.

– Я знаю, что все это значит, – сказала Барбара, когда он вышел. – Бенсон сдрейфил.

Всех Конноли наконец разыскали и свели воедино. Дорис, забравшись в спальню Барбары, опробовала ее косметику. Мики раздирал в библиотеке на части огромный фолиант, Марлин, ползая на четвереньках под раковиной в буфетной, подедала остатки собачьих обедов. Когда их вновь собрали в прихожей, Безил произвел им смотр. То, что он увидел, превзошло все его ожидания. Их увели в холостяцкое крыло и поместили всех вместе в большой спальне.

– Может, запереть дверь?

– Ни к чему. Все равно уйдут, если захотят.

– Можно вас на минутку, мадам? – спросил Бенсон. Вернувшись, Барбара сказала:

– Бенсон действительно сдрейфил. Говорит, он этого не вынесет.

– Хочет уйти?

– Говорит: или я, или Конноли, и его нельзя винить. Фредди никогда не простит мне, если я его отпущу.

– Бэб, ты ревешь.

– Тут всякий заревет, – сказала Барбара, доставая платок и не на шутку заливаясь слезами. – Ну, скажи, кто не заревет?

– Не будь балдой, – сказал Безил, впадая в жаргон классной комнаты, как это часто бывало, когда он оставался с Барбарой наедине. – Я все улажу.

– Похвальбишка. Сам балда. Двойной балда.

– Двойной балда с финтифлюшками.

– Безил, милый, как хорошо, что ты снова здесь. Я и вправду думаю, что если кто и может уладить это дело, так только ты, – Фредди не смог бы, так ведь?

– Фредди сейчас нет.

– Я умнее Фредди. Бэб, скажи: я умнее Фредди.
– Я умнее Фредди. Что, съел?
– Бэб, скажи: ты любишь меня больше, чем Фредди.
– Ты любишь меня больше, чем Фредди. Еще раз съел.
– Скажи: я, Барбара, люблю тебя, Безила, больше, чем его, Фредди.
– Не хочу и не скажу... Скотина, ты делаешь мне больно.
– Скажи.
– Безил, перестань сейчас же, или я позову мисс Пенфолд. Они снова были в классной комнате, как двадцать лет назад.
– Мисс Пенфолд! Мисс Пенфолд! Безил дергает меня за волосы!
Они принялись возиться на диване. Внезапно чей-то голос сказал:
– Эй, миссис, а миссис!
Это была Дорис.
Барбара, запыхавшаяся и растрепанная, поднялась с дивана.
– Ну, Дорис, в чем дело?
– Марлин опять плохо.
– О господи! Сейчас иду. Пойдем вместе.
Дорис с истомой взирала на Безила.
– Ничего пообжимались? – сказала она. – Я люблю обжиматься.
– Беги с Барбарой, Дорис. Ты простудишься.
– Я не замерзла. Подергайте за волосы меня, мистер. Хотите?
– Мне такое и во сне не приснится, – ответил Безил.
– А мне приснится. Мне всякие чудные вещи снятся, много-много. – Она подставила Безилу коротко остриженную голову, затем, хихикая, выбежала из комнаты.
– Вот видишь, – сказала Барбара, – какой трудный ребенок.
Похлопотав над Марлин, Барбара зашла проститься с Безилом на ночь.
– Я еще посижу немного, поработаю над книгой.
– Хорошо, милый. Спокойной ночи. – Она перегнулась через спинку дивана и поцеловала его в макушку.
– Больше не ревешь?
– Нет, не реву.
Он взглянул на нее и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. У них была одна улыбка. Каждый видел себя в глазах другого. Лучше Безила

никого нет на свете, думала Барбара, глядя на свое отражение в его глазах, никого, когда он такой милый.

II

Наутро Безила разбудил Бенсон, единственный слуга-мужчина, остававшийся в доме с тех пор, как Фредди начал «умерять свой пыл». (Он взял в армию своего камердинера и содержал его теперь за счет короля в гораздо худших условиях.) Безил наблюдал из постели, как Бенсон раскладывает его одежду, и размышлял про себя, что он все еще должен ему какую-то мелочь со своего прошлого визита.

– Бенсон, я слышал, вы уходите?

– Я был не в духе вчера, мистер Безил. Я не могу оставить Мэлфри, и миссис Сотилл должна бы это знать. Тем более сейчас, когда капитана нет дома.

– Миссис Сотилл была очень расстроена.

– Я тоже, мистер Безил. Вы просто не знаете, что такое Конноли. Это не люди.

– Мы найдем для них квартиру.

– В здешних местах никто не пустит к себе Конноли. Хоть сто фунтов за них давай.

– Я должен вам некоторую сумму, я так полагаю?

– Должны, мистер Безил. Двенадцать фунтов десять шиллингов.

– Так много? Пора бы вернуть вам долг.

– Да, пора.

– Я верну его, Бенсон.

– Смею надеяться, сэр. Я в этом уверен. Безил в раздумье отправился в ванную. В здешних местах никто не пустит к себе Конноли. Даже за сто фунтов. Даже за сто фунтов.

С начала войны Барбара взяла в обыкновение завтракать внизу, ошибочно рассудив, что так будет меньше хлопот. Если раньше ей подавали плетеный поднос на столик у кровати, то теперь приходилось накрывать целый стол в маленькой столовой, на два часа раньше разводить огонь, чистить много серебряной посуды и подрезать фитили у керосинок. Этого новшества не одобрял никто.

Когда Безил вошел, она сидела склонившись к камину, с чашкой кофе в руках; она повернула к нему свою курчавую темную голову и

улыбнулась; у обоих было погибельное сочетание темных волос и прозрачных голубых глаз. Нарцисс приветствовал Нарцисса из их водной глубли, когда Безил; целовал ее.

– Дурачинушка, – сказала она.

– Я уломал Бенсона.

– Какой ты способный, милый.

– Пришлось дать старику пятерку.

– Врешь.

– Ладно, не хочешь, не верь.

– И не поверю. Знаю я Бенсона, знаю и тебя. Помнится, в последний раз, когда ты у нас гостил, мне пришлось уплатить ему что-то больше десяти фунтов, которые ты у него занимал.

– Ты уплатила?

– Да. Боялась, что он спросит с Фредди.

– Ну и жук! Так или иначе, он остается.

– Ну конечно. Я и сама, как обдумала все хорошенько, поняла, что он останется. Просто не знаю, почему я вчера приняла это так близко к сердцу. Наверное, так ошеломила меня встреча с Конноли.

– Сегодня мы должны их где-то пристроить.

– Это безнадежно. Их никто не пустит, – Ты имеешь право действовать в принудительном порядке.

– Да, но я просто не могу им воспользоваться, – Зато я могу, – сказал Безил. – За милую душу.

После завтрака они направились из столовой в восьмиугольную гостиную. Коридор, которым они шли, хоть и был одним из кружных путей дома, имел пышный карниз и высокий оштукатуренный потолок; дверные проемы были украшены классическими фронтонами, в искрошившихся антаблементах которых стояли бюсты философов и композиторов. Такие же бюсты стояли с правильными интервалами на мраморных пьедесталах. Все было гармонично и великолепно в Мэлфри – все, если не считать Дорис, которая в это утро подстерегала их в засаде, обтирая собой пилястру, словно корова пень.

– Привет, – сказала она.

– Привет, Дорис. А где Мики и Марлин?

– Во дворе. Не беспокойтесь. Они нашли снежную бабу, которую сделали другие ребята, и теперь уродуют ее.

– Ну так беги к ним. – Я хочу быть здесь с вами – и с ним. .

– Ну конечно, – ответил Безил. – Вот уж не мечтал о таком счастье. Я подыщу вам хорошую квартиру за много-много миль отсюда.

– Я хочу быть с вами.

– Иди помоги уродовать снежную бабу.

– Это детская игра. А я не ребенок. Почему вы вчера вечером не захотели потаскать меня за волосы, мистер? Может, вы подумали, у меня гниды? У меня их больше нет. Сестра в заведении все вычесала и смазала волосы маслом. Вот почему они у меня чуточку сальные.

– Я не таскаю девочек за волосы.

– Таскаете. Я сама видела. Ее вот таскали... Он ваш мальчик, да?
– спросила она, поворачиваясь к Барбаре.

– Он мой брат, Дорис.

– А!.. – сказала она, глядя на них своими темными свинячьими глазками, в которых проглядывала мудрость трущоб. – Но вы на него глаз положили, да? Я видела.

– Правда, жуткий ребеночек? – сказала Барбара.

III

Проблему подыскания жилья для Конноли Безил решал с чувством и методично, удобно устроившись за столом с картой военно-геодезического управления, местной газетной и небольшой адресной книгой в красном кожаном переплете. Книга эта в числе прочих вещей досталась Барбаре по наследству от покойной миссис Сотилл, и в нее были внесены имена всех мало-мальски состоятельных соседей в радиусе двадцати миль окрест, в большинстве с пометой Т.П.С., что означало: Только для Приема в Саду. Барбара, не жалея усилий, пополняла этот бесценный справочный труд последними данными и время от времени вычеркивала умерших или уехавших из прихода и вписывала вновь прибывших.

– Как насчет Харкнессов из Дома в старой Мельнице в Северном Грэплинге?

– спросил Безил.

– Это пожилая пара. Он на пенсии после какой-то службы за границей. Она, кажется, музицирует. А что?

– Вот объявление, они приглашают жильцов.

Он сунул ей газету, и в разделе «Жилищные услуги» она прочла:

– «Примем жильцов, на полный пансион в чудесной мельнице пятнадцатого века с современными удобствами. Идеальная обстановка для пожилых Людей и художественных натур, желающих укрыться от тягот войны. Продукты исключительно местного производства. Уединенные старинные сады. 6 гиней в неделю. Гарантируем отличные рекомендации, таковые же необходимы.» Харкнесс, Дом в Старой Мельнице, Северный Грэплинг».

– Ну так как, подойдет это для Конноли?

– Безил, ты не посмеешь!

– Еще как посмею. Сию же минуту беру их в оборот. Тебе дают добавочный бензин для разездов по устройству эвакуированных?

– Да, но...

– Прелестно. Сейчас же отправляюсь туда с Конноли. Это мой первый серьезный вклад в военные усилия, понимаешь?

Обычно, когда машина выезжала из гаража, мальчишки из эвакуированных как угорелые бросались к ней и висли на подножках с криком: «Тетенька, прокатите!» Однако в это утро, видя на заднем сиденье страшилищных Конноли, ребяташки молча отступили. Матери не разрешали им играть с Конноли.

– А почему мне нельзя сидеть с вами впереди, мистер?

– Ты должна следить, чтобы брат и сестра не баловались.

– Они не будут баловаться.

– Это ты так думаешь.

– Они не будут баловаться, если я им скажу, мистер.

– Тогда почему ж они не ведут себя как следует?

– Потому что я велю им вести себя плохо. Так, для потехи; понимаете? Куда мы едем?

– Искать для вас новый дом, Дорис.

– Далеко от вас?

– Очень далеко.

– Слушайте, мистер, Мики в общем-то не такой плохой, а Марлин не такая глупенькая. Ты глупенькая, Марлин?

– Не очень, – ответила Марлин.

– Она умеет следить за собой, когда хочет. Когда я велю.

Так вот, мистер, давайте по-честному. Позвольте нам остаться с вами, и уж я ручаюсь, детишки будут хорошо себя вести.

– Ну, а как насчет тебя, Дорис?

– Мне не надо хорошо себя вести. Я не маленькая. Ну как, порядочек?

– Нет.

– Вы все равно увозите нас?

– Безусловно.

– Ну так подождите! Посмотрите, как мы отделаем этих, куда вы нас везете.

– Не буду ни ждать, ни смотреть, – ответил Безил. – Но не сомневаюсь, что со временем услышу о вас.

Северный Грэплинг, возведенный в камне поселок с неровными крышами из каменной же плитки, каждой из которых было не меньше ста лет, находился в десяти милях от Мэлфри. Он лежал в стороне от большой дороги, в ложбине между холмами; через него, вдоль его единственной улицы и пересекая ее под двумя старыми каменными мостами, протекала река. В верхнем конце улицы стояла церковь, форматы и богатая отделка которой заявляли о том, что за столетия, истекшие со времени ее постройки, Северный Грэплинг сжался в размерах, тогда как остальной мир разрастался; в нижнем конце, за вторым мостом, стоял Дом в Старой Мельнице – именно та тихая пристань, осколок седой старины, о которой может мечтать человек, вынужденный зарабатывать на жизнь под иным, более суровым небом. И мистер Харкнесс в самом деле мечтал о ней, мечтал годами, убивая себя на службе в Сингапуре или отдыхая после работы на клубной веранде, в окружении тучной зелени и кричащих красок. Еще будучи молодым, он купил дом на деньги из отцовского наследства в одну из своих побывок на родине, рассчитывая уединиться в нем, когда придет его черед уйти на покой, и лишь единое терзанье омрачало ему долгие годы ожидания – что он вернется и застанет поселок «на подъеме», с новыми красными крышами, вкрапленными среди серых, и гудронированным шоссе на месте неровной улицы. Однако дух новизны пощадил Грэплинг; вернувшись, мистер Харкнесс застал его в точности таким, каким он был в тот поздний

летний вечер, когда он впервые набрел на него, гуляя, – камни, еще не остывшие от послеполуденного солнца, и ветерок, напоенный свежесладким ароматом гвоздик.

В это наполовину утонувшее в снегу утро камни, казавшиеся летом серыми, были золотисто-коричневые, а между липами, которые своими сплетшимися ветвями скрывали низкий фасад, когда стояли в полной листве, теперь видны были средники окон и отливы над ними, солнечные часы под высоким центральным окном и каменный навес над входом в виде раковины моллюска. Безил остановил машину у моста.

– Господи Иисусе, – сказала Дорис, – вы не оставите нас здесь.

– Сидеть и не рыпаться, – приказал Безил. – Сейчас увидите.

Он набросил коврик на радиатор, открыл маленькую железную калитку и пошел к дому по мощенной каменными плитами дорожке – мрачный посланец рока. Низкое зимнее солнце зловеще отбрасывало его тень на дверь перед ним, которую мистер Харкнесс выкрасил в яблочно-зеленый цвет. Рядом с дверью поднимался узловатый стебель глицинии и, перекручиваясь, вытягивался во весь свой нагой рост между вертикальными стояками окон. Безил оглянулся через плечо – не видно ли его юных пассажиров – и дернул за шнурок железного колокола. Колокол мелодично прозвонил где-то совсем рядом, и дверь вскоре открыла служанка в яблочно-зеленом платье, переднике из муслина с разводами в виде веточек и накрахмаленной белой шапочке, представлявшей собой смехотворную помесь голландки и монашеской камилавки. Эта фантастическая фигура повела Безила за собой, и, сначала поднявшись на ступеньку, а потом на ступеньку опустившись, они вошли в гостиную, где служанка оставила Безила, и он имел время рассмотреть убранство. Пол здесь был застлан грубыми тростниковыми циновками, а в некоторых местах пестрыми балканскими ковриками. На стенах висели торнтоновские гравюры с изображением цветов (вот только его шедевра, «Царицы ночи», не видать было), вышивки и старинные географические карты. Самыми выдающимися предметами обстановки были большое фортепьяно и арфа, а кроме них стояли еще какие-то столы и стулья, имевшие такой вид, будто их сработали прямо из сырого бука. Открытый камин, топившийся торфом, то и дело попухивал в комнату клубами дыма, и у Безила скоро заслезились глаза. Как раз такую комнату представлял

он себе по объявлению, и как раз такой парой оказались мистер и миссис Харкнесс. Миссис Харкнесс отличало шерстяное одеяние ручной вязки, большие поэтичные глаза, длинный и красный от мороза нос и неопишемого цвета волосы, уложенные в художественном беспорядке. Муж ее сделал все возможное, чтобы замаскировать последствия двадцати лет, проведенных в клубе и бунгало на Дальнем Востоке. Он отпустил небольшую козлиную бородку, он носил домотканые бриджи в стиле пионеров велосипедного спорта, он заправлял свободно висящий шелковый галстук в кольцо с камеей – и все же в его манере до сих пор сохранялось что-то напоминавшее того щеголеватого человека в белых парусиновых брюках, который из вечера в вечер в свой черед выставлял розовый джин другим таким же щеголеватым людям в белом и дважды в год обедал в губернаторской резиденции.

Они вошли через дверь, открывавшуюся в сад. Безил так и ждал, что мистер Харкнесс скажет: «Присаживайтесь» и, хлопнув в ладоши, спросит джинку. Но вместо этого супруги поглядели на него вопрошающе и даже с некоторым отвращением.

– Меня зовут Сил. Я пришел по вашему объявлению в «Курьере».

– Ах, по нашему объявлению... Да, да, – неопределенно проговорил мистер Харкнесс. – Была у нас такая мысль. Нам стало чуточку стыдно, что у нас тут так много места, так красиво. По нашим нынешним запросам дом для нас великоват. Мы действительно думали, что, быть может, если бы нас познакомили с какими-нибудь людьми нашего склада, с такими же простыми вкусами, мы могли бы, э-э... соединить свои усилия, так сказать, в нынешние трудные времена. В сущности говоря, у нас уже есть одна жилища, и я не думаю, чтобы мы серьезно хотели принять к себе еще одного, так ведь, Агнес?

– Это так просто, праздная мысль, – сказала миссис Харкнесс. – В зеленом месте зелень дум^[33]...

– У нас, видите ли, не гостиница. Мы только принимаем жильцов на полный пансион. Это совершенно разные вещи.

Безил понял их нерешительность с поразительной для него пронизательностью.

– Я прошу не за себя, – сказал он.

– А, это другое дело. Я полагаю, мы могли бы пустить еще одного или двух человек, если б только они действительно э-э... Миссис Харкнесс пришла ему на помощь.

– Если бы мы были уверены, что они могут быть тут счастливы.

– Вот, вот. В сущности говоря, у нас дом, где все счастливы.

Безилу казалось, будто он вновь слышит заведующего пансионом при школе: «В сущности говоря, у нас дом энтузиастов, Сил. Может, мы и не завоюем всех кубков, но по крайней мере стараемся».

– О да, конечно, – галантно ответил он.

– Вы, наверное, хотите осмотреться. С дороги дом кажется совсем маленьким, но в действительности, если сосчитать комнаты, он на удивление большой.

Сто лет назад на месте пастбищ вокруг Грэплинга были сплошные нивы, и мельница молола зерно на всю округу. Еще задолго до Харкнессов она пришла в упадок и в восьмидесятых годах прошлого века была превращена в жилой дом одним из последователей Уильяма Морриса. Речку отвели, мельничный пруд осушили и выровняли, и на его месте, в котловане, разбили сад. В помещениях, где стояли жернова и приводные механизмы, а также в длинных верхних ярусах, где хранилось зерно, деликатно настелили полы, оштукатурили стены и поставили перегородки. Миссис Харкнесс с материнской гордостью перечисляла эти особенности.

– Ваши друзья, которые собираются к нам приехать, художественные натуры?

– Да нет, пожалуй, едва ли их можно так называть.

– Они не пишущие люди?

– Пожалуй, что нет.

– Я всегда думала, что тут у нас идеальное место для пишущих людей. Позвольте спросить, кто же они такие, эти ваши друзья?

– Ну, вероятно, их можно назвать просто эвакуированные. Мистер и миссис Харкнесс любезно засмеялись этой милой шутке.

– Горожане, ищущие тихого прибежища, так, что ли?

– Именно так.

– Ну что же, они найдут, его здесь, правда, Агнес? Они вернулись в гостиную. Миссис Харкнесс положила руку на золоченую шейку арфы и устремила взор куда-то за сад, придав мечтательное

выражение своим большим серым глазам. Так она глядела в Малайе за площадку для игры в гольф, мечтая о доме.

– Мне приятно думать, что этот прекрасный старый дом все еще приносит пользу людям. В конце концов, для того он и был построен, чтобы его использовали. Сотни лет тому назад он давал людям хлеб. Потом наступили другие времена, и его покинули, забросили. Потом он сделался жилищем, но по-прежнему оставался отрезанным от мира, от жизни народа. И вот теперь ему наконец снова воздадут должное. Он будет удовлетворять потребность. Возможно, я покажусь вам чудачкой, – сказала она манерно и словно витая мыслями где-то далеко-далеко, – но последние несколько недель мне казалось, будто я вижу, как наш старый дом улыбается про себя, казалось, слышу, как эти старые бревна шепчут: «Они думали, мы ни на что не годны. Они думали, мы косное, отсталое старье. Но им не обойтись без нас, всем этим занятым, поспешающим по пути прогресса. Они вновь обращаются к нам в трудный час».

– Агнес всегда была поэтом, – сказал мистер Харкнесс. – Практически за хозяйку здесь я. Вы видели наши условия в газете?

– Да.

– Возможно, они покажутся вам несколько завышенными, но вы же понимаете, что наши постояльцы живут совсем как мы сами. Мы живем просто, но мы любим комфорт. Тепло, – сказал он, слегка попятившись от камина, как раз в этот момент изрыгнувшего в комнату клуб духовитого дыма, – сад, – сказал он, указывая на промерзший, заваленный снегом котлован за окнами. – Летом мы принимаем пищу под старой шелковицей. Музыка. Каждую неделю у нас камерная музыка. У нашей Старой Мельницы есть некие трудно определяемые достоинства, некие невесомости, которые, грубо говоря, имеют свою рыночную стоимость. И мне не кажется, – скромно сказал он, – мне не кажется, что при данных обстоятельствах (причем в обстоятельства – Безил был в этом уверен – явно включался толстый кус поэтического воображения миссис Харкнесс) шесть гиней слишком высокая цена.

Настал момент, которого Безил все время ждал, – момент бросить гранату, которую он лелеял за пазухой с той самой минуты, как открыл маленькую калитку из кованого железа и потянул за шнурок железного колокола.

– Мы даем восемь шиллингов шесть пенсов в неделю, – сказал он. Это была предохранительная чека. Подскочил рычажок, распустилась пружина; внутри насеченной металлической скорлупы плюнул огнем капсуль, и пламя невидимо поползло по пальцу дистанционной трубки. Медленно сосчитай до семи и бросай. Раз, два, три, четыре...

– Восемь шиллингов шесть пенсов? – переспросил мистер Харкнесс. – Боюсь, тут какое-то недоразумение. Пять, шесть, семь. Пора. Бац!

– Наверное, мне следовало сказать вам с самого начала. Я квартирьер. У меня в машине трое детей.

Это выглядело грандиозно. Все было как на войне. Кто-кто, а Безил был в некотором роде специалист по шокам. Лучшего он не мог припомнить.

Реакция Харкнессов после первого ошеломленного молчания прошла три стадии: негодующий призыв к разуму и справедливости, смиренная просьба о помиловании и, наконец, безразличное, полное достоинства принятие неизбежного.

Первая стадия:

– Я позвоню миссис Сотилл... Я дойду до местных властей... Я напишу в министерство просвещения и лорду-наместнику. Это же просто курам на смех. Десятки арендаторов в коттеджах наверняка рады будут приютить этих детей.

– Только не этих, – ответил Безил. – К тому же, как вы знаете, мы сражаемся за демократию. Нехорошо получается, когда богатые отказываются вносить свой вклад.

– Богатые! Мы и берем-то жильцов только оттого, что еле сводим концы с концами.

– Да и место для детей тут самое неподходящее. Они могут свалиться в речку и захлебнуться. На четыре мили кругом нет ни одной школы...

Вторая стадия:

– Мы уже не такие молодые. После стольких лет на Востоке английская зима переносится так трудно. Всякое лишнее бремя... – Мистер Сил, вы своими глазами видели этот чудесный старый дом и как мы здесь живем. Неужели вы не чувствуете здесь нечто совсем иное, нечто драгоценное, и это нечто так легко убить!

– Именно в таком влиянии и нуждаются эти детишки, – жизнерадостно ответил Безил. – Немножко культуры им не повредит.

Третья стадия:

Враждебность, холодная, как заснеженный склон холма над поселком. Безил провел Конноли по мощенной плитами дорожке и через яблочно-зеленую дверь прошел с ними в проход, пахнувший торфяным дымом и смесью сухих лепестков с пряностями.

– Вещей-то у них с собой никаких, – сказал он. – Это Дорис, это Мики, а это... Это маленькая Марлин. Я уверен, через день-другой вы просто диву дадитесь, как это вы до сих пор могли без них жить. Мы сплошь и рядом сталкиваемся с этим в нашей работе – с людьми, которые поначалу чураются детишек, а потом рвутся усыновлять их. До свиданьица, детки, не скучайте. До свиданьица, миссис Харкнесс. Будем время от времени заглядывать к вам, так просто, чтобы посмотреть, все ли у вас в порядке.

И Безил покатил обратно между голыми живыми изгородями, столь согретый глубокой внутренней теплотой, что ему нипочем была собирающаяся метель.

В ту ночь навалило чудовищно много снега, и телефонные провода оборвались, а по дороге на Северный Грэплинг невозможно стало проехать, так что Старая Мельница восемь дней была отрезана физически, подобно тому как до сих пор она была отрезана духовно от остального мира.

IV

Барбара и Безил сидели в оранжерее после второго завтрака. Дым от сигары, которую курил Безил, словно синяя гряда облаков висел во влажном воздухе, на уровне груди между мощеным полом и листвой экзотических растений под потолком. Он читал вслух сестре.

– Это о службе снабжения, – сказал он, кладя на стол последнюю страницу рукописи. Книга сильно продвинулась вперед за последнюю неделю.

Барбара проснулась, причем так незаметно, что и не подумать было, что она спала.

– Очень хорошо, – сказала она. – Замечательно.

– Это должно разбудить их, – сказал Безил.

– Должно, – сказала Барбара, на которую его творение возымело столь отличное от ожидаемого действие. Затем добавила, без всякой связи с предыдущим: – Я слышала, сегодня утром откопали дорогу к Северному Грэплингу.

– Этот снегопад был послан самим провидением. Он позволил Конноли и Харкнессам сойтись вплотную. В противном случае та или другая сторона могла бы раньше времени отчаяться.

– Надо думать, мы скоро услышим о Харкнессах. И в этот же момент, словно все происходило на сцене, Бенсон подошел к двери и объявил, что мистер Харкнесс находится в маленькой гостиной.

– Я должна видеть его, – сказала Барбара.

– Ни в коем случае, – сказал Безил. – Это моя работа для фронта. – И последовал за Бенсоном в дом.

Он, конечно, ожидал увидеть перемену в мистере Харкнессе, но не такую разительную. Его едва можно было узнать. Казалось, будто корка тропической респектабельности, уцелевшая под фасадом домотканой материи и галстучного кольца, истерта в порошок: он был жалок. Одет он был так же, как и в первый раз. Должно быть, лишь воображение придавало этой аккуратной бородке беспутный вид – воображение, воспламененное загнанным выражением его глаз.

Во время путешествий Безилу однажды довелось посетить тюрьму в Трансиордании, где была введена хитроумная система наказаний. Заведение это имело двойное назначение: служило исправительным учреждением и одновременно приютом для душевнобольных. Среди сумасшедших был один очень трудный старый араб, необычайно свирепый, усмирить которого мог только пристальный человеческий взор. А стоило сморгнуть хоть раз – и он вмиг на тебя набрасывался. Преступников, нарушавших тюремные правила, приводили в его камеру и запирали с ним наедине на срок до двух суток, соответственно тяжести проступка. День и ночь сумасшедший, притаясь, сидел в углу, не спуская замороженного взгляда с глаз провинившегося. Лучшим временем был для него полуденный зной: в эту пору даже самый бдительный преступник нередко смежал усталые веки и в тот же миг оказывался на полу под бешеным натиском безумца. Безилу довелось видеть гиганта-уголовника, выводимого из камеры араба после такой двухдневной

сессии, и что-то в глазах мистера Харкнесса живо привело ему на память эту сцену.

– Моя сестра, кажется, уехала, – сказал Безил. Если в груди мистера Харкнесса и теплилась надежда, при виде старого врага она угасла.

– Вы брат миссис Сотилл?

– Да. В нас находят много общего. Я помогаю ей здесь в отсутствие моего зятя. Чем могу служить?

– Ничем, – надломленным голосом ответил мистер Харкнесс. – Ничего. Неважно. Я хотел повидать миссис Сотилл. Когда она вернется?

– А кто ее знает, – ответил Безил. – Она иногда бывает чрезвычайно безответственна. Иной раз пропадает целыми месяцами. Но на этот раз она поручила мне вести все дела. Вы не о ваших ли эвакуированных хотели с ней говорить? Она была очень рада слышать, что их удалось так удачно пристроить. Иначе она не могла бы уехать с чистой совестью. Это семейство доставляло нам некоторое беспокойство. Надеюсь, вы меня понимаете?

Мистер Харкнесс, не дожидаясь приглашения, сел. Воплощением смерти сидел он на золоченом стуле в этой маленькой яркой комнате и не выказывал намерения ни говорить, ни двигаться.

– Миссис Харкнесс здорова? – любезно осведомился Безил.

– Слегла.

– А ваша жилища?

– Уехала сегодня утром, как только расчистили дорогу. Обе наши служанки уехали вместе с ней.

– Надеюсь, Дорис помогает вам по хозяйству? Звук этого имени доконал мистера Харкнесса. Он повел разговор начистоту.

– Мистер Сил, я этого не вынесу. Мы оба не вынесем. Сил наших больше нет. Заберите от нас этих детей.

– Но ведь вы, конечно, не хотите, чтобы их отослали обратно в Бирмингем, под бомбы?

Именно к этому аргументу прибегала Барбара в подобных случаях, и он действовал безотказно. Однако не успел Безил договорить, как ему тут же стало ясно, что это был ложный шаг. Страдание очистило душу мистера Харкнесса от всякого лицемерия. Впервые за весь разговор его губы искривило подобие улыбки.

– Ничто на свете не доставило бы мне большей радости, – сказал он.

– Ну что вы, что вы! Вы сами на себя наговариваете. Да я закон этого не позволяет. Я хотел бы помочь вам. Что вы предлагаете?

– Я уж думал, не дать ли им мышьяковый препарат от сорняков, – тоскующе сказал мистер Харкнесс.

– Да, – отозвался Безил, – это был бы выход. Вы полагаете, Марлин могла бы удержать его в желудке?

– Либо повесить их.

– Полноте, полноте, мистер Харкнесс, ведь это все так, пустые мечты. Надо быть практичнее.

– Я ничего не могу придумать, кроме Смерти. Нашей или их.

– Выход есть, я уверен, – сказал Безил и затем деликатно, следя, не мелькнет ли в лице мистера Харкнесса недоверчивого или негодующего выражения, начал излагать план, который смутно представился ему при первой встрече с Конноли и обрел более конкретные черты за последнюю неделю. – Трудность размещения детей среди бедных состоит в том, что пособия, которое на них выдают, едва хватает на их пропитание. Разумеется, если дети милые и ласковые, люди часто берут их довольно охотно. Но Конноли ни милыми, ни ласковыми не назовешь. – Тут мистер Харкнесс застонал. – К тому же они все портят и ломают. Ну да вы сами знаете. Итак, определить их к какой-нибудь бедняцкой семье значило бы поставить людей в серьезное затруднение – финансовое затруднение. Но представьте себе, что скудное правительственное пособие будет дополнено... Вы меня понимаете?

– То есть я мог бы кому-нибудь заплатить, чтобы их от меня забрали? Ох господи, да, конечно, заплачу сколько угодно или почти сколько угодно. Сколько же? И как мне за это взяться?

– Предоставьте все мне, – сказал Безил, внезапно отбрасывая изысканную манеру. – Сколько вы дадите за то, чтобы их забрали?

Мистер Харкнесс ответил не сразу: с возрождением надежды к нему вернулось самообладание. Нет человека, который, служа на Востоке, не приобрел бы чутья ко всяческим комбинациям, – Я полагаю, фунт в неделю достаточная компенсация для бедной семьи, – сказал он.

– А что, если мы договоримся о единовременной сумме покрупнее? Крупная сумма часто ослепляет людей, э-э... бедных людей, которые еще подумают, соглашаться ли на пособие.

– Двадцать пять фунтов.

– Полноте, мистер Харкнесс, ведь если считать по фунту в неделю, как вы сами предложили, этого хватит только на полгода. А ведь война продлится дольше.

– Тридцать. Выше тридцати я не могу идти. Он не богатый человек, размышлял Безил. Весьма вероятно, больше тридцати он действительно не может уплатить.

– Ну что ж, пожалуй, я смогу найти кого-нибудь, – сказал он. – Разумеется, вы понимаете, что все это совершенно против правил.

– О, я понимаю. – (Так ли это? – подумал про себя Безил. – Возможно, что так.) – Вы сможете забрать детей сегодня?

– Сегодня?

– Непременно. – Условия теперь диктовал мистер Харкнесс. – Чек будет ждать вас. Я выпишу его на предъявителя.

– Как ты долго, – сказала Барбара. – Ты успокоил его?

– Придется искать для Конноли новый дом.

– Безил, ты смилостивился над ним!

– Он был такой жалкий. Я размяк.

– Как это на тебя не похоже, Безил.

– Надо опять поработать с адресной книгой. Нам придется взять к себе Конноли сегодня на ночь, А утром я найду для них что-нибудь.

В сумерки он поехал в Северный Грэплинг. С обеих сторон дороги высились кучи недавно раскиданного снега, оставляя узкий проезд. Трое Конноли ждали его перед яблочно-зеленой дверью.

– Бородач велел передать вам это, – сказала Дорис. «Это» был конверт, а в нем чек. Больше ничего. Никто из супругов не вышел проводить их.

– Мистер, я рада вас видеть? – спросила Дорис.

– Залезайте, – сказал Безил.

– Можно мне сесть впереди рядом с вами?

– Можно. Залезайте.

– Нет, правда? Без дураков?

– Да влезайте же, холодно! – (Дорис села рядом с Безилом.) –

Учти: ты здесь условно.

– Что это значит?

– Ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока будешь хорошо себя вести, и Мики с Марлин тоже. Понятно?

– Эй вы, ханурики, слышали? – вдруг сказала Дорис тоном непререкаемого авторитета. – Чтоб вести себя, не то живо нахлопаю по... Раз я велела, они будут сидеть паиньками, мистер.

Они сидели паиньками.

– Дорис, ты это очень хорошо придумала – заставлять малюток не давать людям покоя, только теперь мы будем играть в эту игру так, как я хочу. В доме, где я живу, вы должны вести себя хорошо. Всегда, понимаешь? Время от времени я буду привозить вас в другие дома. Там вы можете безобразничать как хотите, но только после моего знака. Понимаешь?

– Порядочек, шеф. Выдай нам сигару.

– Ты начинаешь мне нравиться, Дорис.

– Я люблю тебя, – сказала Дорис с душераздирающим жаром, откидываясь на спинку сиденья и пыхая клубом дыма в торжественно-серьезных малюток на задних местах; – Я никогда никого не любила так, как тебя.

– По-видимому, неделя у Харкнессов оказала на детей исключительное действие, – сказала Барбара после обеда, – Я ничего не могу понять.

– Мистер Харкнесс говорил о каких-то невесомостях у них на Мельнице. Быть может, это как раз то самое и есть.

– Безил, у тебя что-то неладное на уме. Хотелось бы мне знать что.

Безил обратил на нее свои невинные голубые глаза, такие же голубые и такие же невинные, как у нее; в них не было и намека на озорство.

– Просто работаю на фронт, Бэб, – сказал он.

– Скользучая змея.

– Да нет же.

– Щекочущий паук. – Они снова были в классной комнате, в мире, в котором когда-то играли в пиратов. – Хитрющая обезьяна, – сказала Барбара совсем ласково.

Роты строились на плацу в четверть девятого; сразу же после осмотра людей вызывали в ротную канцелярию: только так можно было успеть отсеять обоснованные заявления от необоснованных, принять меры по мелким дисциплинарным проступкам, должным образом составить обвинительные заключения и правильно вписать имена серьезных нарушителей дисциплины в рапорт, направляемый командиру части.

– Рядовой Тэттон обвиняется в утере по нерадивости противогаза стоимостью в восемнадцать шиллингов шесть пенсов.

Рядовой Тэттон начал сбивчиво объяснять, что он забыл противогаз в военной лавке, а когда через десять минут вернулся за ним, противогаз исчез.

– Дело подлежит рассмотрению командиром части. – Капитан Мейфилд не имел права налагать взыскания за проступки, чреватые вычетом из солдатского жалованья.

– Дело подлежит рассмотрению командиром части. Кругом! Отставить! Я не говорил, чтобы вы отдавали честь. Крутом! Шагом марш!

Капитан Мейфилд заглянул в корзинку для входящих документов, стоявшую на столе.

– Кандидаты в офицерскую школу, – сказал старшина.

– Так кого же нам отправить? Начальник штаба не принимает отказов.

– Ну что ж, сэр, пошлем Броуди.

Броуди был нескладный стряпчий, прибывший с последним пополнением.

– Что вы, старшина, какой же из Броуди офицер?

– В роте от него мало проку, сэр, а образование у него просто блестящее.

– Ну ладно, запишите его первым номером. А что вы думаете насчет сержанта Хэриса?

– Не подходит, сэр.

– У него чудесный характер, он ревностный поборник дисциплины, знает свое дело вдоль и поперек, люди пойдут за ним в огонь и воду.

– Совершенно верно, сэр.

– Так что же вы имеете против него?

– Я ничего против него не имею, сэр. Только ротной футбольной команде без него не обойтись.

– Верно. Кого же вы предлагаете?

– А нашего баронета, сэр. – Старшина произнес это с улыбкой. Пребывание Аластэра на положении рядового несколько озадачивало капитана Мейфилда, но постоянно давало повод для шуток старшине.

– Трампингтона? Ладно, пусть оба сейчас же явятся ко мне. Дневальный разыскал и привел их. Старшина вводил их по одному.

– Шагом марш. Стой. Отдать честь. Броуди, сэр.

– Броуди. От нашей роты требуют двух кандидатов для отправки в офицерскую школу. Я записал вас. Разумеется, окончательное решение принимает командир части. Я не утверждаю, что вы хотите в офицерскую школу. Я просто полагаю, что вы не будете возражать, если командир одобрит ваше назначение.

– Я не возражаю, сэр, если вы действительно думаете, что из меня выйдет хороший офицер.

– Я вовсе не думаю, что из вас выйдет хороший офицер. Таких днем с огнем поискать. Но все же полагаю, что какой-то офицер из вас получится.

– Благодарю вас, сэр.

– А пока вы еще у меня в роте, не надо входить ко мне в канцелярию с торчащей из кармана авторучкой.

– Прошу прощения, сэр.

– Прекратить разговорчики! – сказал старшина.

– Ладно, это все, старшина.

– Кругом. Шагом марш. Отставить. Выбрасывайте вперед правую руку, когда начинаете движение.

– Пожалуй, стоит дать ему пару лычек, чтобы уж наверняка сбить его с рук. Я поговорю с начальником штаба.

Ввели Аластэра. Он мало изменился с тех пор, как пошел служить. Только теперь у него грудь выпячивалась больше, чем живот, но под свободной солдатской формой это было едва заметно.

Капитан Мейфилд начал с ним разговор в точности теми же словами, что и с Броуди.

– Слушаюсь, сэр.

- Вы не хотите получить офицерское звание?
- Нет, сэр.
- Очень странно, Трампингтон. Какие-нибудь особые причины?
- Мне кажется, и в прошлую войну многие чувствовали то же.
- Слышал, слышал. И не много они на этом выиграли.
- Ну ладно, не хотите, не надо. Бойтесь ответственности?

Аластэр не отвечал. Капитан Мейфилд кивнул, и старшина отпустил его.

- Ну, что вы об этом думаете? – спросил капитан Мейфилд.
- Я знаю людей, которые считают, что в рядовых безопаснее.
- Нет, тут, я думаю, другое. Трампингтон доброволец и притом не призывного возраста.
- Чудно, сэр.
- Очень чудно, старшина.

Аластэр не спешил возвращаться во взвод. Утром в это время они обычно занимались физической подготовкой. Этот пункт распорядка дня он действительно ненавидел. Он притаился за кухней и ждал, пока не увидит по часам, что с физической подготовкой покончено. Когда он доложил о своем возвращении, взопревшие солдаты, пыхтя, натягивали на себя куртки. Он стал в строй и протопал с ними в столовую – душный и жаркий барак, где начальник медицинской службы читал лекцию по санитарии и гигиене. Темой лекции были мухи и опасность, которую они собой представляют. С пугающими подробностями начальник медслужбы описывал путь мухи от сортира к сахарнице: как ее утыканые щетинками лапки переносят возбудителей дизентерии; как она размягчает пищу зараженной слюной, прежде чем съесть ее; как она испражняется во время еды. Эта лекция всегда проходила успешно.

– Разумеется, – не сильно убедительно добавлял он, – сейчас все это не кажется таким уж важным (повсюду вокруг них громоздились горы снега), но если нас отправят на Восток...

После лекции подавалась команда: «Вольно, разойдись», и в течение двадцати минут они курили, жевали шоколад и обменивались новостями, снабжая каждую фразу уникальным, неизменным, непристойным присловьем, которое словно икота перемежало их речь; они притопывали на месте и потирали руки. – – Чего хотел ротный, ... его в душу?

- Хотел послать меня в офицерскую школу, ... ее в душу.
- Везет же некоторым, ... их в душу. Когда ты отправляешься, ... тебя в душу?
- Я остаюсь.
- Ты не хочешь стать офицером, ... их в душу?
- На хрен надо, ... меня в душу, – отвечал Аластэр.

Когда Аластэра спрашивали – а это случалось довольно часто, – почему он не добивается офицерского звания, он иногда отвечал: «Из снобизма. Я не хочу офицерской компании во внеслужебное время», иногда: «По лени. Офицерам приходится здорово работать в военное время», иногда: «Вся эта война чистое безумие, так что с одинаковым успехом можно танцевать от печки». Соне он сказал: «До сих пор мы жили довольно легко. Возможно, человеку иногда полезна перемена». Яснее он не мог сформулировать то смутное удовлетворение, которое испытывал в глубине души. Соня понимала это чувство, но предпочитала не давать ему точного определения. Как-то, уже много позднее, она сказала Безилу: «Мне кажется, я знаю, что чувствовал Аластэр всю первую военную зиму. Наверное, это прозвучит ужасно неожиданно, но у него оказался еще более странный характер, чем мы думали. Помнишь того человека, который всегда одевался арабом, а потом пошел служить в авиацию рядовым, потому что считал, что английское правительство третирует арабов? Забыла уж, как его звали, о нем еще написали потом пропасть Книг. Так вот, мне кажется, что-то в этом роде испытывал и Аластэр, понимаешь? Он никогда ничего не делал для своей страны, и хотя мы всегда сидели на мели, на самом-то деле у нас была масса денег и масса удовольствий. Мне кажется, он думал, что если бы мы поменьше развлекались, то, возможно, не было бы и войны. Хотя каким образом он может винить себя за Гитлера – этого я так и не могла понять... Теперь-то я более или менее понимаю, – добавила она. – Пойти в рядовые было для него своего рода епитимьей или как это там еще называется у верующих».

Да, это была епитимья, строгости которой все же допускали послабления. После перекура они строились для учений. Командира взвода, в котором служил Аластэр, в то утро с ними не было: он заседал в следственной комиссии. Битых три часа он и еще два офицера опрашивали свидетелей на предмет исчезновения помойной

лохани из расположения штаба и подробнейшим образом записывали их показания. В конце концов стало ясно, что либо все свидетели сговорились о лжесвидетельстве, либо лохань улетучилась каким-то сверхъестественным путем без всякого человеческого содействия. В результате комиссия вынесла решение, что ни один подозреваемый не может быть обвинен в упущении по службе, и рекомендовала возместить ущерб за казенный счет.

Председатель комиссии сказал:

– Я не думаю, что командир одобрит наше решение. Скорее всего он завернет нам бумаги для нового расследования.

Тем временем взвод, вверенный попечению старшины, разбившись на отделения, отрабатывал приемы устранения задержек в ручном пулемете Брена.

– Пулемет даст два выстрела и снова отказывает. Куда вы теперь смотрите, Трампингтон?

– На газовый регулятор... Снимаем магазин. Нажать, оттянуть назад, нажать. Пулемет номер два к бою готов.

– Про что он забыл?

Хор:

– Накладка плечевого упора!

– Муфта ствола, – сказал один солдат. Так он ответил однажды, когда все остальные терялись в догадках, и оказался прав, за что ему вынесли поощрение. С тех пор он говорил это всегда, подобно игроку, который в длинной полосе невезенья упорно ставит на одну и ту же масть, рассчитывая на то, что рано или поздно она непременно откроется.

Капрал игнорировал его.

– Совершенно верно, накладка плечевого упора. Опять погорели, Трампингтон.

Была суббота. Занятия кончались в двенадцать. Воспользовавшись отсутствием взводного, они пошабали на десять минут раньше и прибрали все снаряжение, с тем чтобы, как только прозвучит сигнал горна, сразу же разбежаться по квартирам Аластэр имел отпускную до понедельника, с явкой к утренней побудке. Ему не надо было идти за вещами: все необходимое он держал дома. Соня ждала его в машине перед караулкой. Они никуда не уезжали на

субботу и воскресенье, а проводили их по большей части в постели, в меблированном доме, который сняли по соседству.

– Сегодня утром я довольно ловко управился с пулеметом Брена, – сказал Аластэр. – Сделал только одну ошибку.

– Ты у меня умница, милый.

– А еще мне удалось профилонить физподготовку.

К тому же они закруглились на десять минут раньше, и утро можно было считать весьма удовлетворительным. Теперь впереди у него было полтора дня уединения и досуга.

– Я ездила за покупками в Уокинг, – сказала Соня, – достала всяких вкусных вещей и все еженедельные газеты. Там крутят кинофильм, можно бы съездить посмотреть.

– Можно бы, – с сомнением произнес Аластэр. – Только там, должно быть, полным-полно солдат ... их в душу.

– Милый, таких слов при мне никогда еще не произносили. Я думала, их только в романах печатают.

Аластэр принял ванну и переоделся в костюм из твида. (Собственно, ради того, чтобы носить штатское, он и сидел дома по субботам и воскресеньям – ради этого и еще из-за холода на дворе и вездесущих военных.) Затем он выпил виски с содовой и наблюдал, как готовит Соня. У них была яичница, сосиски, грудинка и холодный сливовый пудинг. После еды он закурил большую сигару. Опять шел снег, он нарастал валиками вокруг окон в стальных рамах, закрывая вид на площадку для игры в гольф. Они растопили всю камин и напекли к чаю сдобных пышек.

– У нас весь этот вечер и весь завтрашний день, – сказала Соня. – Разве это не чудесно? Знаешь, Аластэр, мы с тобой всегда сумеем весело провести время, правда? Где бы мы ни были.

Таков был февраль 1940 года, та до странности уютная интермедия между войной и миром, когда отпуска давались каждую неделю и не было нехватки в еде, питье и куреве, когда французы стойко держались на линии Мажино, и все говорили о том, какую, должно быть, жестокую зиму переживает Германия. В одно из таких воскресений Соня зачала.

Как и предсказывал Бентли, Эмброуз вскоре оказался зачислен в штат сотрудников министерства информации. Больше того, он был лишь одним из многих, кто появился там в результате реорганизации и первого сокращения штатов, за которым последовали другие. В Палате общин относительно министерства был сделан ряд запросов; пресса, взятая в узду многочисленных ограничений, в досталь отыгралась на собственных неурядицах. Было обещано принять меры, и через неделю интриг были сделаны новые назначения. Филип Хескет-Смидерс перекочевал в отдел народных танцев; Дигби-Смиту дали Полярный круг; сам Бентли после головокружительной недели, в течение которой он один день ставил фильм о почтальонах, один день подшивал газетные вырезки из Стамбула, а остальное время осуществлял контроль над работой столовой для министерских сотрудников, в конце концов снова оказался во главе литераторов подле своих бюстов. Тридцать или сорок служащих с тихой радостью удалились в сферу коммерческой конкуренции, а на их места пришли сорок или пятьдесят новых мужчин и женщин, и среди них – хотя он совершенно не мог понять, как это случилось, – Эмброуз. Печать хотя и не верила, что из всего этого выйдет что-нибудь путное, тем не менее поздравила общественность с исправным функционированием системы правления, при которой воля народа так скоро претворяется в жизнь. «Урок неразберихи в министерстве информации – ибо неразбериха, несомненно, имела место – состоит не в том, что подобные вещи случаются в демократической стране, а в том, что они поддаются исправлению, – писали газеты. – Отделы министерства продуло чистым, свежим ветром демократической критики; обвинения открыто выдвигались, и на них открыто отвечали. Нашим врагам есть над чем призадуматься».

На нынешней фазе войны место Эмброуза как единственного представителя атеизма в отделе религии было одним из самых незначительных. Эмброуз не смог бы, явись у него такое желание, украсить свою комнату скульптурой. У него был для работы единственный стол и единственный стул. Кроме него, в комнате сидел секретарь, молодой мирянин-фанатик католического вероисповедания, без устали указывавший на расхождения между «Майн кампф» и папской энцикликой «*Quadragesimo Anno*»^[34], благодушный протестантский священник и англиканский священник,

заступивший место того, что протащил в министерство *prie-dieu* красного дерева. «Нам надо переориентироваться на Женеву, – говаривал он. – Первый неверный шаг был сделан тогда, когда положили под сукно доклад Комиссии Литтона^[35]. Он спорил долго и мягко, католик долго и яростно, тогда как протестант озадаченным посредником восседал между ними. Эмброузу ставилась задача разъяснять атеистам у себя дома и в колониях, что нацизм по существу своему мировоззрение агностическое, притом сильно пропитанное религиозными предрассудками; его коллеги имели перед ним завидное преимущество: они располагали обширными сводками достоверных материалов о разогнанных воскресных школах, преследуемых монахах и поганых нордических ритуалах. У него была потная работенка: он работал на публику немногочисленную, зато с критическим складом ума. Однако всякий раз, как ему удавалось откопать в груде иностранных газет, переходивших со стола на стол, какие-нибудь данные о посещаемости церквей в Германии, он рассылал их двум или трем журналам, преданным его делу. Он подсчитал, сколько раз слово «бог» встречается в речах Гитлера, получил внушительную цифру. Он написал маленькую острую статью, в которой доказывал, что травля евреев имеет религиозное происхождение. Он делал все, что мог, но скука томила его, и, по мере того как проходила зима, он все чаще и чаще покидал своих ненавистных коллег ради более человеческого общества Бентли.

Толпище талантов, которые в поисках работы осаждали министерство в первые недели войны, схлынуло до ничтожной горсточки. Швейцару в проходной внушили приемы распознавания и отпугивания нанимающихся. Никто больше не хотел реорганизации, по крайней мере в ближайшем будущем Кабинет Бентли стал оазисом культуры в варварском мире. Здесь-то и зашел впервые разговор о башне из слоновой кости.

– Искусство для искусства, Джефри. Назад к лилии и лотосу, подальше от пропыленных иммортелей, от одуванчиков на пустыре.

– Своего рода новая «Желтая книга», – сочувственно отозвался Бентли.

Эмброуз, созерцавший портрет Сары Сиддонс, круто повернулся.

– Джефри, как можно быть таким жестоким?

– Дорогой мой Эмброуз...

– Именно так они это назовут.

– Кто они?

– Парснип, – со злобой ответил Эмброуз. – Пимпернедл, Пупка Грин и Том.

После долгой паузы Эмброуз сказал:

– Если б только знать, что готовит будущее. В задумчивости вернулся он в отдел религии.

– Это скорее по вашей части, – сказал ему представитель католицизма, протягивая вырезку из швейцарской газеты. В ней говорилось о штурмовиках, присутствовавших на заупокойной службе в Зальцбурге. Эмброуз прикрепил ее скрепкой к листку бумаги, написал: «Копии «Свободной мысли», «Атеисту с объявлениями» и «Воскресному дню без бога в семейном кругу» и сунул в корзинку для исходящих документов. В двух ярдах от него священник-протестант проверял статистические выкладки о посещаемости пивных под открытым небом крупными фашистскими чиновниками. Англиканский священник старался выжать максимум из довольно бессвязных сообщений из Голландии о жестоком обращении с животными в Бремене. Тут нет фундамента для башни из слоновой кости, подумал Эмброуз, нет гирлянды облаков, чтобы увенчать ее вершину, и его мысли жаворонком воспарили в рисованное темперой небо четырнадцатого века, – небо плоских, пустых, сине-белых облаков, с перекрестной штриховкой золотом на обращенных к солнцу боках, в безмерную высь, выведенную мыльной пеной на панно из ляпис-лазури. Он стоял на высокой сахарной вершине, на новоявленной вавилонской башне – муэдзин, выкликающий свое обращение миру куполов и облаков, – а у него под ногами, между ним и нелепыми маленькими фигурками, вскакивающими и падающими ниц на полосатых молитвенных ковриках, лежала прозрачная воздушная бездна, где резвились голуби и бабочки.

VII

В составленный покойной миссис Сотилл список «Только для приема в саду» входили большей частью люди очень пожилые, те, кто, дослужившись до пенсии в городе или за границей, удалялись на покой, купив небольшой помещичий особняк или дом священника

побольше. При таких домах, в свое время содержавшихся на ренту с участка в тысячу акров и десятка коттеджей, теперь имелась только лужайка да обнесенный стеною сад, и их существование поддерживалось исключительно на пенсию и личные сбережения. Сельскохозяйственный характер окружающей местности вызывал особенное неудовольствие этих мелких землевладельцев. Крупные земельные собственники вроде Фредди охотно продавали отдаленные фермы тем, кто хотел вести хозяйство. «Только для приема в саду» страдали при этом и протестовали. Ни расширить узкий клин, ни подрезать дерево, мешающее телеграфным проводам, нельзя было без того, чтобы этого не отметили с сожалением в тех солнечных светелках. Обитатели их были благожелательные, общительные люди; их заботливо урезанное потомство давно уже выпорхнуло из родного гнезда и лишь изредка навещалось к родителям. Дочери имели квартиры и работу в Лондоне и жили собственной жизнью; сыновья, люди служивые или деловые, также крепко стояли на ногах. Дары империи помаленьку притекали в аграрные края: амбары для хранения десятинного зерна превращались в общинные дома, бойскауты получали новую палатку, а приходская медсестра автомобиль; старые скамьи вытаскивались из церквей, хоры разбирались, королевский герб и скрижали с десятью заповедями выносились из-за алтаря и замещались ширмами из синей шелковой ткани, поддерживаемыми по углам золочеными солсберийскими ангелами; лужайки коротко подстригались, удобрялись и пропалывались, и с их великолепной поверхности вставляли пучки пампасной травы и юкки; руки в перчатках из года в год копались в искусственных горках с навалом камней, из года в год работали ножницами на травянистых рубежах; в залах на столах, рядом с подносами для визитных карточек, стояли лубяные корзинки. Сейчас, в мертвых глубинах зимы, когда пруды с кувшинками были затянуты толстым слоем льда, а огороды застилалась на ночь мешками, эти славные люди каждый день подкармливали птиц крошками со своего стола и заботились о том, чтобы ни один старик в деревне не остался без угля.

Таков был тот неведомый мир, который Безил рассматривал на забранных в кожу страницах адресной книги покойной миссис Сотилл, – рассматривал так, как хищный зверь глядит с холмов на

тучные пастбища; как пехота Ганнибала глядела с высоты вечных снегов, когда первые слоны, опробовав ногой вытравленные в снегу островки почвы, уводящие вниз на равнины Ломбардии, покачиваясь и трубя, переступали через гребень хребта.

После успешной битвы при Северном Грэплинге Безил доехал с Дорис в городок по соседству, щедро накормил ее жареной рыбой с хрустящим картофелем, сводил в кино, позволил ей жать его руку жестоким и липким пожатием на протяжении двух бездонно сентиментальных фильмов и привез ее обратно в Мэлфри в состоянии восторженного послушания.

– Вы ведь не любите блондинок, правда? – с тревогой спросила она его в машине.

– Очень даже люблю.

– Больше, чем брюнеток?

– Да нет, мне все равно.

– Говорят, свой своего ищет. Она-то темная, – Кто она?

– Ну, та, которую вы зовете сестрой.

– Дорис, ты должна выкинуть это из головы. Миссис Сотилл в самом деле моя сестра.

– И вы в нее не влюблены?

– Ну разумеется, нет.

– Значит, вы любите блондинок, – печально сказала Дорис.

На следующий день она улизнула в деревню, таинственно вернулась с каким-то небольшим свертком и все утро скрывалась в холостяцком крыле. Перед самым вторым завтраком она явилась в оранжерею с головой, обвязанной полотенцем.

– Я хотела вам показать, – сказала она и обнажила копну волос местами бледно-желтого, местами первоначального черного цвета, местами в пестрых пятнах всевозможных переходных тонов.

– Господи боже, деточка! – сказала Барбара. – Что ты наделала?

Дорис глядела на Безила.

– Вам нравится? Сегодня вечером я попробую еще.

– Я бы не стал, – ответил Безил. – Я бы оставил как есть.

– Вам нравится?

– На мой взгляд, просто великолепно.

– А я не слишком полосатая?

– В самый раз.

Если до сих пор внешности Дорис чего и не хватало до полной страховидности, то сегодня утром она восполнила этот пробел.

Безил любовно изучал адресную книгу.

– Подыскиваю новый дом для Конноли, – сказал он.

– Безил, мы должны как-то выправить голову бедного ребенка, прежде чем передадим его дальше.

– Ничего подобного. Это ей идет. Что тебе известно о Грейсах из Старого дома священника в Эддерфорде?

– Это прелестный домик. Он художник.

– Богема?

– Нисколько. Очень утонченный. Рисует портреты детей акварелью и пастелью.

– Пастелью? Это подходяще.

– Она как будто слаба здоровьем.

– Превосходно.

Конноли пробыли в Старом доме священника два дня и заработали двадцать фунтов.

VIII

Лондон был снова полон. Те, кто поспешно уехал, вернулись; те, кто отдавал последние распоряжения, намереваясь уехать после первого налета, остались. Марго Метроленд закрыла дом и переселилась в отель «Ритц»; открыла дом и переселилась обратно; решила в конце концов, что в «Ритце» ей больше нравится, и снова закрыла дом, на этот раз, сама того не подозревая, навсегда. Руке слуги не суждено было вновь отвести ставни, прикрывавшие высокие окна; они оставались на запоре до тех пор, пока в конце года их не выбросило взрывом на Кэрзонг стрит; мебель все еще стояла под чехлами, когда ее разбили в щепы и сожгли.

Сэра Джозефа назначили на высокий, ответственный пост. Теперь его частенько можно было видеть с генералами, а то и с адмиралом. «Наша первоочередная военная задача, – говаривал он, – состоит в том, чтобы не допустить вступления Италии в войну до тех пор, пока она не окрепнет настолько, чтобы стать на нашу сторону».

Внутреннее положение в стране он характеризовал следующим образом: «Противогаз берут на службу, но не в клуб».

Леди Сил больше не беспокоила его по поводу Безила.

– Он в Мэлфри, помогает Барбаре с эвакуированными, – говорила она. – В армии сейчас все забито. Вот когда у нас будут потери, тогда все станет намного легче.

Сэр Джозеф кивал, но в глубине души был настроен скептически. Больших потерь быть не должно. Он разговаривал в «Бифштексе» с одним очень интересным человеком, который знаком с немецким профессором истории; сейчас этот профессор в Англии; о нем очень высокого мнения в министерстве иностранных дел; профессор утверждает, что в Германии насчитывается пятьдесят миллионов немцев, готовых завтра же заключить мир на наших условиях. Вопрос лишь в том, чтобы свалить тех, кто сидит в правительстве. Сэр Джозеф видел, и не раз, как сваливают правительства. В военное время это делается запросто – ведь свалили же запросто Асквита (в скобках заметим, что он был куда лучше Ллойд Джорджа, который пришел на его место). Потом свалили Ллойд Джорджа, потом свалили Макдональда. Кристофер Сил – вот тот знал, как это делается. Он бы в два счета свалил Гитлера, будь он в живых и будь он немцем.

Пупка Грин и ее приятели были в Лондоне.

– Эмброуз стал фашистом, – сказала она.

– Не может быть!

– Работает на правительство в министерстве информации, ею подкупили, и он издает новую газету.

– Фашистскую?

– А то нет.

– Я слышал, она будет называться «Башня из слоновой кости».

– Это и есть фашизм, если хотите.

– Эскепизм.

– Троцкизм.

– У Эмброуза никогда не было пролетарского мировоззрения. Просто не представляю, как мы до сих пор его терпели. Парснип всегда говорил...

Питер Пастмастер вошел в бар Брэттс-клуба, в боевой форме, на плече – нашивка части, в которой он раньше не служил.

– Привет. Ты чего это так вырядился? Питер ухмыльнулся, как может ухмыляться только солдат, которому известен важный секрет.

– Да так, ничего – Тебя что, вышибли из полка?

– Временно отчислен для выполнения особого задания.

– Я сегодня уже встретил пятерых переодетых ребят, ты шестой.

– То-то и оно – надо хранить тайну, сам понимаешь.

– Да в чем дело?

– Со временем узнаешь, – отвечал Питер с безграничным самодовольством.

Они подошли к стойке.

– С добрым утром, милорд, – сказал Макдугал, бармен. – Как вижу, вы тоже собрались в Финляндию? Сегодня ночью отправляются очень многие наши джентльмены.

Анджела Лин вернулась в Лондон; с госпиталем было все в порядке, сын, доставленный в начале войны с восточного побережья в Дартмур, был в частной школе. Анджела сидела «дома» – так она называла то место, где теперь жила, – и слушала по радио последние известия из Германии. Местом этим была квартира с отельными услугами, такая же индифферентно-элегантная, как она сама, – пять больших комнат в мансардном этаже только что поставленной каменной коробки на Гровнер-сквер. Декораторы отделали ее, когда Анджела была во Франции, в том стиле, что сходит за ампир в фешенебельных кругах. На будущий год, в августе, она собиралась отделать квартиру заново, но помешала война.

В то утро она провела час со своими коммерческими агентами, отдавая четкие, разумные указания относительно того, как распорядиться ее состоянием; она завтракала одна, слушая по радио новости из Европы, а после завтрака одна же пошла в кино на Кэрзон-стрит. Когда она выходила из кино, уже смеркалось, а теперь и подавно темно было снаружи, за тяжелыми малиновыми портьерами, перевязанными золотыми шнурами, отороченными золотой каймой, которые ниспадали множеством пышных витых складок, скрывающих новые черные ставни. Вскоре она отправится обедать в «Ритц» вместе с Марго. Питер куда-то уезжал, и Марго хотела устроить ему проводы.

Анджела смешала себе большой коктейль; главными составными частями были водка и кальвадос. На сервировочном помпейском столике декораторы забыли электрический шейкер. Это было у них в обычае – сорить дорогими пустяками такого рода в домах, где они работали; прижимистые клиенты отсылали вещи обратно; люди порассеянное усматривали в них подарки, за которые они забыли кого-то поблагодарить, пускали их в ход, портили и платили за них через год, когда присылались счета. Анджела любила всякие механические приспособления. Она включила шейкер и, когда коктейль был готов, взяла стакан с собою в ванную и медленно пила его в ванне.

Она всегда пила коктейли только наедине; в них ей чудилось – слабым, лишь ей одной внятнм намеком – предложение доброго приятельства, едва различимое приглашение к интимности, возможно восходящее к поре сухого закона, когда на джин перестали смотреть глазами Хогарта^[36] и увидели в нем великолепную вещь; ей чудилась в них некая эманация ослушничества, компромисс каприза и уголовщины, они напоминали о друзьях отца, провозглашавших тосты в ее честь, о мужчине на пароходе, сказавшем «A tes beaux yeux»^[37]. А так как всякое общение с людьми, которые вечно лезли со своим, было в тягость Анджеле, то она и пила коктейли в одиночестве. В последнее же время она все дни проводила одна.

От пара из ванны стенки стакана сперва запотели, потом покрылись крупными каплями. Она допила коктейль и ощутила в себе иные пары. Она долго лежала в воде, почти без мыслей, почти ничего не чувствуя, кроме теплой воды вокруг и алкоголя внутри. Она позвала из соседней комнаты служанку и велела принести сигарету; медленно выкурив сигарету, она попросила пепельницу, а затем полотенце, и вскоре была полностью готова к встрече с темнотой, пронизывающим холодом и компанией, подобранной Марго Метроленд для обеда. Внимательно осмотрев себя в зеркале напоследок, она заметила, что углы ее рта начинают чуть-чуть опускаться. Это не была та гримаска разочарования, которую она видела у многих своих друзей; так – ей случалось это наблюдать – бывают опущены углы рта у маски смерти, когда челюсти плотно сжаты, а лицо застыло в морщинах, говорящих тем, что собрались у постели, что воля к жизни ушла.

За обедом она пила виши и разговаривала, как мужчина. Она сказала, что от Франции теперь мало проку, и Питер заклеил ее как

представителя «пятой колонны» – эта фраза только-только начинала входить в моду. Потом они пошли танцевать в «Сьюиви». Она танцевала, пила виши и разговаривала толково и саркастически, как очень умный мужчина. На ней были новые серьги в виде тоненьких изумрудных стрел с рубиновыми наконечниками, словно пронзавшими ей мочку; она сама их придумала и зашла за ними сегодня утром, на обратном пути от своего поверенного. Девушки в их компании заметили ее серьги; они заметили все особенности ее туалета:

Анджела была одета лучше всех женщин здесь, как и везде, куда бы ни приходила.

Она оставалась до тех пор, пока не стали расходиться, и одна вернулась на Гровнер-сквер. С начала войны лифтер дежурил только до полуночи. Она захлопнула двери кабины, нажала кнопку мансардного этажа и поднялась в свою пустую, молчаливую квартиру. Разгребать пепел в камине не надо было; подсвеченные стеклянные угли вечным жаром горели в элегантной стальной корзине; температура в комнатах оставалась неизменной зимой и летом, днем и ночью. Она смешала большую порцию виски с водой и включила приемник.

По всему миру без устали говорили голоса – одни на своем родном, другие на иностранных языках. Она слушала и крутила ручку настройки. Иногда ей попадались взрывы музыки, один раз молитва. Немного погодя она смешала еще виски с водой.

Служанка Анджелы жила отдельно, и ей было сказано не дожидаться хозяйки. Когда она пришла утром, миссис Лин лежала в постели, но не спала. Платье, в котором она выходила накануне, было не беспорядочно разбросано по ковру, как случалось порою, а аккуратно повешено.

– Я сегодня не встану, Грейнджер, – сказала она. – Принесите мне приемник и газеты.

Потом приняла ванну, снова легла, проглотила две таблетки снотворного и тихо проспала до той поры, когда надо было вставлять в рамы окон черные фанерные щиты и прикрывать их бархатными портьерами.

– Как насчет мистера и миссис Преттимэн-Партридж из Солодового Дома в Грэнтли Грин?

Безил выбирал цели на крайней периферии квартирнерского района Мэлфри. Север и Восток уже потерпели от его ударов. Деревня Грэнтли Грин лежала на юге, где край горных отрогов и лощин, сглаживаясь, переходил в равнину сидровых садов и огородов с коммерческим уклоном.

– Кажется, это очень старые люди, – отвечала Барбара. – Я их совсем не знаю. Погоди, мне что-то на днях говорили о Преттимэн-Партридже. Нет, непомню.

– Славенький домик? Много хороших вещей?

– Вроде бы.

– Размеренный образ жизни? Любят покой?

– Как будто так.

– Тогда подойдет.

И Безил склонился над картой, прослеживая дорогу на Грэнтли Грин, по которой собирался поехать на следующий день.

Отыскать Солодовый Дом не составило труда. В семнадцатом веке в нем была пивоварня, затем он был превращен в жилой дом. Он имел широкий правильный фасад, облицованный камнем и выходящий на деревенскую лужайку. Занавески и фарфор на окнах свидетельствовали о том, что он в «хороших руках». Безил с удовлетворением отметил про себя фарфор – большие черные веджвудские вазы, ценные, хрупкие и, несомненно, дорогие сердцу хозяев. Когда дверь отворяли, открывался вид прямо сквозь весь дом на белую лужайку с заснеженным кедром.

Дверь отворила красивая крупная молодая женщина со светлыми вьющимися волосами, белой кожей, огромными бледно-голубыми глазами и крупным робким ртом. Она была одета в костюм из твида и шерстяной джемпер, как на прогулку, но мягкие, подбитые мехом туфли говорили о том, что она все утро сидела дома. Все в ней было крупное, мягкое, округлое и просторное. Ее, пожалуй, не взяли бы манекенщицей в магазин готовой одежды, но толстой ее назвать было нельзя. В век более рафинированный ее сочли бы изумительно сложенной; Буше нарисовал бы ее полуобнаженной, в развевающихся сине-розовых драпировках, а над персиково-белой грудью непременно парила бы бабочка.

– Мисс Преттимэн-Партридж?

– Нет. Только, ради бога, не говорите, что пришли что-нибудь продать. Стоять в дверях ужасно холодно, а если я попрошу вас в дом, придется купить ваш товар.

– Я хочу видеть мистера и миссис Преттимэн-Партридж.

– Они умерли. Вернее сказать, один из них. Другой этим летом продал нам дом. Простите, это все? Я не хочу быть невежливой, но я должна закрыть дверь, не то я замерзну.

Так вот что слышала Барбара о Солодовом Доме.

– Разрешите войти?

– О господи, – сказала великолепное создание, проводя его в комнату с веджвудскими вазами. – Вы что-нибудь продаете? Или с какими-нибудь анкетами? Или просто какая-нибудь подписка? Если продаете или анкеты, тут я ничем не могу помочь: мой муж служит в йоменской части, его нет дома. Если подписка, то деньги у меня наверху. Мне сказано дать столько же, сколько даст миссис Эндрюс, жена доктора. Если вы к ней еще не заходили, зайдите еще, когда выяснится, на сколько она раскошелилась.

Все в комнате было новым, точнее говоря, новой была покраска, новыми были ковры и занавески, и вся мебель была размещена заново. Перед камином стоял очень большой диван, подушки которого, обтянутые набивкой, еще хранили отпечаток форм красивой молодой женщины: она лежала на нем, когда Безил позвонил. Он знал, что положи он руку в округлую вогнутость, где перед тем покоилось ее бедро, рука ощутила бы тепло, знал, какие подушки она подоткнула под локоть. Книга, которую она читала, валялась на коврике из Овечьих шкур, лежавшем перед камином, Безил мог бы в точности воссоздать положение, в каком лежала хозяйка, раскинувшись на подушках во всей неге первой молодости.

Она как будто почувствовала бесцеремонность его осмотра.

– Между прочим, – сказала она, – почему вы не в форме?

– Работа общенационального значения, – ответил Безил. – Я приходский квартирьер. Ищу подходящее место для троих эвакуированных детей.

– Ну, надеюсь, этот дом вы не назовете подходящим местом. Помилуйте! Я даже не могу присмотреть за овчаркой Билла, я и за

собой-то не могу как следует присмотреть. Что мне делать с тремя детьми?

– Это, я бы сказал, исключительные дети.

– О, разумеется. У меня-то своих нет, слава тебе господи. Вчера ко мне заходила одна чудачка, некто миссис Харкнесс. Казалось бы, можно и пообождать с визитами до конца войны, как вы думаете? Так вот, она ужас что такое рассказывала о детях, которых к ней прислали. Им пришлось подкупить того человека, подкупить буквально, деньгами, лишь бы этих зверенышей от них забрали.

– Это те самые дети.

– Господи помилуй, с какой же стати вы выбрали меня? Ее большие глаза ослепляли его, как ослепляют кролика фары автомобиля. Это было восхитительное ощущение.

– Видите ли, я, собственно, остановился на Преттимэн-Партриджах... Я даже не знаю вашего имени.

– А я вашего.

– Безил Сил.

– Безил Сил? – В ее голосе вдруг прозвучала заинтересованность.

– Вот чудно.

– Почему чудно?

– Так просто, я много слышала о вас в свое время. У вас не было подруги по имени Мэри Никольс?

– Мэри Никольс?

Была ли у него такая? Мэри Никольс... Мэри Никольс...

– Она часто рассказывала о вас. Она была намного старше меня. Я обожала ее, мне тогда было шестнадцать. Вы познакомились с ней на пароходе по пути из Копенгагена.

– Очень может быть. Я бывал в Копенгагене. Молодая женщина смотрела теперь на него с пристальным я не вполне лестным вниманием.

– Так вы, значит, и есть тот самый Безил Сил. Вот уж никогда бы не подумала...

Это было четыре года назад, дома у Мэри Никольс в Южном Кенсингтоне. У Мэри была небольшая гостиная окнами во двор, на первом этаже. В ней Мэри угощала подружек чаем. Туда она приходила много дней подряд, садилась перед газовым камином, ела пирожные с грецкими орехами от Фуллера и слушала подробный

рассказ о Переживании Мэри. «Неужели ты больше не увидишься с ним?» – спрашивала она. «Нет, это было так прекрасно, так законченно». – После своего Переживания Мэри запоем читала романтиков. «Я не хочу это портить». – «Миленькая, мне кажется, он ни капельки тебя не стоит». – «Нет, он совсем не такой. Ты не думай, что он как те молодые люди, с которыми знакомишься на танцах...» Она тогда еще не ходила на танцы, и Мэри это знала. Рассказы Мэри о молодых людях, с которыми она знакомилась на танцах, были очень трогательны, но не в такой степени, как повествование о Безиле Силе. Это имя глубоко запало в девичью душу.

А Безил, все еще стоя, перерывал свою память. Мэри Никольс? Копенгаген? Нет, это не говорило ему ни о чем. Какое утешение, думал он: доброе дело всплывает из толщи времени, чтобы облагодетельствовать благодетеля. Человек закатывает кутеж с девчонкой на пароходе. Потом она уходит своим путем, он своим. Он про все забывает: благодеяния подобного рода были для него не редкость. Но она помнит, ив один прекрасный день, когда он меньше всего этого ожидает, Фортуна бросает ему на колени спелый плод награды – это сладостное создание, в полном неведении ожидающее его здесь, в Солодовом Доме в Грэнтли Грин.

– Вы не предложите мне выпить? С разрешения Мэри Никольс?

– Боюсь, в доме ничего не найдется. Как видите, Билла нет. Он хранит кое-какой запас внизу, в погребе, но дверь заперта.

– Я думаю, мы сумеем открыть ее.

– О нет! Я на это не решусь. Билл будет рвать и метать.

– Ну, едва ли он сильно обрадуется, когда вернется на побывку и увидит, как Конноли разносят дом на куски. Между прочим, вы их еще не видели. Они там, в машине. Я приведу их.

– Ради бога, не надо!

Голубые коровьи глаза глядели на него с неподдельным страданием и мольбой.

– Ну, хотя бы взгляните на них в окно.

Она пошла и взглянула.

– Боже милостивый, – сказала она, – Миссис Харкнесс была совершенно права. Я думала, она преувеличивает.

– Ей стоило тридцати фунтов избавиться от них.

– Ах господи, у меня нет столько. – Опять страдание и мольба в больших голубых глазах. – Билл присылает мне часть своего жалованья. Деньги приходят раз в месяц. Это фактически все, что у меня есть.

– Я согласен на оплату натурой, – сказал Безил.

– Вы имеет в виду херес?

– Рюмка хереса мне бы не помешала, – сказал Безил. Когда они приступили с ломом к двери погреба, стало ясно, что отважная молодая женщина идет на это с большой охотой. Погребок оказался трогательно мал – сокровищница бедного человека. Тут было с полдюжины бутылок рейнвейна, целая загородка с портвейном, дюжины две кларета. «Почти все – свадебные подарки», – объяснила хозяйка. Безил нашел херес, и они посмотрели его на свет.

– У меня сейчас нет прислуги, – объяснила она. – Женщина приходит раз в неделю.

В буфетной они нашли рюмки и штопор в столовой.

– Ну как, сойдет? – с тревогой спросила хозяйка, когда Безил попробовал вино.

– Превосходный херес.

– Я так рада. Билл знает толк в винах. Я – нет. Они начали говорить о Билле. Он женился на этом милом создании в июле, у него хорошая работа в архитектурном бюро в соседнем городе, он поселился в Грэнтли Грин в августе, а в сентябре зачислился рядовым кавалеристом в йоменскую часть...

Через два часа Безил вышел из дома и вернулся к машине. КОнноли послушно сидели на своих местах живыми свидетельствами неотразимой силы любви.

– Ну и долго же вы, мистер, – сказала Дорис. – Мы совсем заледенели. Мы выходим?

– Нет.

– Мы не будем уродовать этот дом?

– Нет, Дорис, этот нет. Я везу вас обратно.

Дорис блаженно вздохнула.

– Тогда ничего, что мы так замерзли, раз нам можно вернуться с вами.

Когда они вернулись в Мэлфри и Барбара снова увидела детей в холостяцком крыле, ее лицо вытянулось.

– Ах, Безил, – сказала она, – ты подвел меня.

– Не совсем так. Преттимэн-Партриджи умерли.

– Я знала, что с ними что-то случилось. Но как же долго ты ездил!

– Я встретил подругу. Точнее, подругу одной моей подруги. Очень славная девушка. Думаю, ты должна что-нибудь для нее сделать.

– Как ее зовут.

– Мм... видишь ли, я так и не узнал. Но вот ее мужа зовут Билл. Он кавалеристом в одном полку с Фредди.

– Чья же она подруга?

– Мэри Никольс.

– Никогда не слыхала.

– Это моя старая любовь. Нет, честное слово, Бэб, она тебе понравится.

– Ну что ж, пригласи ее на обед. – Барбара была отнюдь не в восторге. Слишком многих приятельниц Безила она знала.

– Уже пригласил. Беда только, у нее нет машины. Ты не будешь возражать, если я за ней съезжу?

– Милый, у нас просто нет на это бензина.

– Можно воспользоваться дополнительным.

– Милый, я так не могу. Это же не имеет никакого отношения к устройству эвакуированных.

– Хочешь верь, хочешь не верь, Бэб, – имеет.

X

Морозы отпустили, снег сходил. Колони-бог, Бэгшот-хит, Чог бем-коммон и прочие небольшие, поросшие утесником и кустарником полигоны между шоссевыми дорогами Суррея, – клочки дикой земли, обозначенные на указательных знаках буквами «В. в.», а на географических картах «учебное поле номер такой-то», – вновь вылезли на свет божий после краткого периода заснеженной красоты.

– Можно двигать дальше с тактической подготовкой, – сказал командир части.

Три недели подряд они чертили взводные схемы и ротные схемы. Капитан Мейфилд лишал себя досуга, изыскивая способы превращения в поле боя тех немногочисленных акров закрытой болотистой местности, которые находились в его распоряжении. С точки зрения солдат все схемы отличались одна от другой лишь расстоянием от лагеря до учебного поля и расстоянием, которое приходилось преодолевать перед прекращением огня. Потом три дня подряд командир части выезжал с начальником штаба в броневике; каждый имел при себе палатку. «Организуем батальонные учения, – говаривал капитан Мейфилд. Его солдатам было все равно. – Это наши первые батальонные учения. Крайне необходимо, чтобы каждый в роте был на высоте».

Аластэр мало-помалу постигал новые разновидности языка. Существовал простой язык, с неизменным повторением непристойного присловья при каждой фразе, на нем говорили его собратья солдаты. Этот нечего было изучать. Но существовал еще язык, на котором говорили офицеры, и иногда они обращались на этом языке к нему. Когда капитан Мейфилд впервые спросил его: «Вы на высоте, Трампингтон?» – он решил, что имеется в виду его положение на местности, а он в ту минуту стоял в траншее по колени в воде, в каске, украшенной орляком – так велел ему Смолвуд, их взводный. «Нет, сэр», – браво ответил он.

Капитан Мейфилд был скорее доволен таким, признанием. «Поднимите этих людей на должную высоту, Смолвуд», – сказал он, после чего взводный стал нудно и неубедительно толковать о неспровоцированном нападении Юга на Север (который не подписал Женевский протокол о запрещении применения боевых отравляющих веществ), о том, как надо поддерживать батареи, ББМ, ПКО и так далее. Аластэр узнал также, что все схемы кончаются так называемой «бойней»; вопреки его опасениям, эта «бойня» не имела ничего общего с кровавым побоищем, а означала восстановление на краткий срок личной свободы передвижения: все разбрелись куда глаза глядят, Смолвуд свистел в свисток, а капитан Мейфилд кричал:

«Смолвуд, будьте любезны, уберите отсюда ваш взвод ко всем чертям и постройте его на дороге!»

В день батальонной схемы они маршем вышли из лагеря в составе батальона. Аластэра назначили взводным минометчиком.

Разыгрывалась азартная игра, и шансы ее горячо обсуждались. Минометов у них сейчас не было, и ему дали взамен легкую, удобную в обращении деревянную болванку, которую он нес на ремне поверх вещевого мешка, избавившись таким образом от винтовки. Пока что это была выгодная мена, но близился день, о котором говорили: «Вот когда получим вооружение по форме 1098» – и тогда после этого мрачного события ему придется маяться хуже любого стрелка. Еще два солдата попросили, чтобы их сделали истребителями танков, и это был опрометчивый шаг: вопреки всем ожиданиям, Противотанковые ружья вдруг прибыли. Один солдат благоразумно заболел перед учениями, другой заболел после.

Так вот. Наполнили фляги, уложили в котелки неприкосновенный запас и из-за упрямства Севера в Женеве нацепили противогазы, сгубившие в корне старания тех, кто изобретал снаряжение, сделать все, чтобы солдатская грудь дышала свободно. Через десять минут марша, после команды «вольно!», начали петь «А ну, кати бочонок», «На Зигфрида на линии просушим мы белье» и «Квартирмейстерскую». Затем был дан приказ перейти на марш в предвидении встречи с противником. Что это такое, было досконально известно: тащись по канаве, спотыкаясь на каждом шагу; пение прекратилось; истребитель танков заунывно ругался. Потом была подана команда «надеть противогазы!», и все надели противогазы; стенанья истребителя танков заглохли под маской.

– Химическая тревога – отбой! Не кладите противогазы сразу в под сумки. Пусть немного просохнут.

Пройдя около восьми миль, они свернули с большака на проселочную дорогу и наконец остановились. Было одиннадцать часов.

– Батальон прибыл в район сосредоточения! – выкликнул капитан Мейфилд.

– Командир только что ушел вперед на разведку с разведгруппой.

Впечатление было такое, будто он выкликает перед толпой паломников: «Это Ватикан! Папа только что прошел в Сикстинскую капеллу!»

– Так гораздо интересней. Когда пытаешься понять, что к чему, – как бы оправдываясь, сказал Смолвуд. – Да, да, курите, курите.

Рота уселась на обочине и стала уничтожать неприкосновенный запас.

– Послушайте, – сказал Смолвуд. – Для обеда будет привал.

Они продолжали есть. Почти все молчали.

– Скоро командир пришлет за группой наблюдения! – выкликнул капитан Мейфилд.

Немного погодя явился вестовой, со своей вестью явно не спешивший, и увел капитана Мейфилда.

– Командир части послал за своей группой наблюдения, – сказал Смолвуд.

– Ротой теперь командует капитан Браун.

– Командир части отдал приказ! – выкликнул капитан Браун. – Сейчас он размещает первый эшелон штаба. Теперь ротные командиры ведут разведку. Скоро они пошлют за своими группами наблюдения.

– Ума не приложу, на кой мы им тут сдались, – сказал истребитель танков.

Прошло три четверти часа. Затем явился связной с письменным распоряжением для капитана Брауна.

– Вы должны встретить командира роты во втором «А» квадрата «Пасека», – сказал тот троим взводным. – Я веду роту в «П» того же квадрата.

Смолвуд вместе со своим связным и денщиком покинули командный пункт взвода и нерешительно откочевали в кустарники.

– Построить роту, старшина.

Создавшаяся ситуация не сильно радовала капитана Брауна; рота зигзагами тянулась за ним по пустырю; сделали несколько остановок, во время которых капитан Браун ломал голову над картой. Наконец он сказал:

– Вот ротный район сосредоточения. Сейчас ротный командир отдает приказ наблюдательной группе.

Как только люди начали устраиваться на позицию, появился капитан Мейфилд.

– Куда делись взводные командиры, черт побери? – спросил он. – И что делает здесь рота? Я сказал: пункт «П» квадрата «Пасека», а это второе «А».

Завязался спор, до Аластэра долетали только отдельные фразы: «Кольцевой обвод», «Сопряжение трасс» и то и дело повторяющееся: «Да, ошибка в карте». Капитан Браун как будто выходил победителем; во всяком случае, капитан Мейфилд отправился искать свою наблюдательную группу, оставив роту иод его командованием.

Прошло полчаса. Капитан Браун счел своим долгом объяснить заминку.

– Взводные командиры ведут разведку, – сказал он. Немного погодя появился командир части.

– Это третья рота? – спросил он.

– Так точно, сэр.

– В чем дело? Вам сейчас следует быть на рубеже атаки. – Затем, поскольку было ясно, что пробирать капитана Брауна за оплошку бесполезно, он сказал тоном, которого тот так страшился: – Я каким-то образом проскочил мимо ваших часовых, когда шел к вам. Будьте любезны, объясните мне систему вашей непосредственной обороны.

– Видите ли, сэр, мы остановились тут просто так... Командир части увел с собой капитана Брауна.

– Сейчас ему вставят фитиль, – констатировал истребитель танков, впервые за весь день испытывая удовлетворение.

Капитан Браун вернулся сам не свой и начал лихорадочно расстановивать посты воздушного оповещения и химического наблюдения. В самый разгар его деятельности прибыли взводные связные и повели взводы в районы сосредоточения. Аластэр прошел со взводом еще полмили. Затем они остановились. Появился Смолвуд и собрал вокруг себя командиров отделений. Командир части был тут же и слушал, как Смолвуд отдает приказ. Когда тот кончил, командир сказал:

– Мне кажется, вы забыли упомянуть о БМП, Смолвуд, не так ли?

– БМП, сэр? Да, сэр, похоже, я не знаю, где он. Командир увел Смолвуда за пределы слышимости.

– А теперь ему вставят фитиль, – ликуя, возвестил истребитель танков.

Командиры отделений вернулись к своим людям. Приказ Смолвуда распухал от подробностей: рубеж атаки, час «Ч», разграничительные линии включительно и исключительно, объекты наступления, огневая поддержка.

– Так оно всегда и бывает, – сказал капрал Дин. – Они там, мы тут. А потом давай в атаку.

Прошло еще полчаса. Появился капитан Мейфилд.

– Ради Христа, Смолвуд, ведь вы сейчас должны наполовину подняться на высоту.

– О! – сказал Смолвуд. – Простите. Пошли. Вперед! Взвод собрал снаряжение и вступил в бой, с трудом продвигаясь по склону холма. Вдруг впереди появился майор Буш, заместитель командира части. Его с восторгом обстреляли холостыми патронами.

– Накрылся, – сказал солдат, ползший рядом с Аластэром.

– Вы попали под сильнейший обстрел, – сказал майор. – Большинство из вас ранены или убиты.

– Сам ты убит.

– Так что же вы намерены предпринять, Смолвуд?

– Спускаться обратно, сэр.

– Ну так спускайтесь.

– Спускаться обратно! – приказал Смолвуд.

– А что вы намерены предпринять дальше? Смолвуд в отчаянье озирался Вокруг, словно ища источник вдохновенья.

– Поставить дымовую завесу, сэр.

– Ну так ставьте дымовую завесу.

– Поставить дымовую завесу! – приказал Смолвуд Аластэру. Майор пошел дальше, морочить взвод у них на фланге.

– Вперед, – приказал Смолвуд. – Надо же преодолеть этот проклятый холм. Так уж лучше сейчас.

Путь вышел короче, чем казалось поначалу. Через двадцать минут они достигли вершины, где их ждала продолжительная «бойня». Мало-помалу сюда с разных сторон стянулся весь батальон. Третья рота собралась и построилась; затем их распустили на обед. Обед был давно съеден, и они просто лежали на спине и курили,

По пути в лагерь командир части сказал:

– Не так уж плохо для первого раза.

– Не так уж плохо, полковник, – отозвался майор Буш.

– Несколько медленны на подъем.

– Да, несколько неповоротливы.

– Смолвуд оказался не на высоте.

– Он был очень туг на подъем.

– Но мне все же кажется, мы кое-чему научились. Люди были заинтересованы. Это было сразу заметно.

Батальон добрался до лагеря уже затемно. Они парадным маршем прошли мимо караулки, разделились на роты и стали на ротном плацу.

– Винтовки протереть до ужина, – приказал капитан Мейфилд. – Взводным сержантам собрать стреляные гильзы. Осмотр ног повзводно.

Улучив минуту, Аластэр прошмыгнул к телефонной будке и успел позвонить Соне до того, как капитан Мейфилд вынырнул из-за угла барака с электрическим фонариком, чтобы осматривать ноги. Аластэр надел чистые носки, сунул под соломенный тюфяк форменные ботинки, переобулся в штатские туфли и был готов. Соня уже ждала его в машине перед караулкой.

– Милый, от тебя сильно пахнет потом, – сказала она. – Что ты делал?

– Ставил дымовую завесу, – гордо отвечал Аластэр. – Все наступление задерживалось, пока я не поставил дымовую завесу.

– Какой ты молодец, милый. У меня на обед бифштекс из консервов и пудинг с почками.

После обеда Аластэр расположился в кресле.

– Не давай мне заснуть, – сказал он. – К полночи я должен вернуться в часть.

– Я разбужу тебя.

– Хотелось бы мне знать, насколько этот бой похож на настоящий, – успел он сказать засыпая.

Заморская операция, к которой готовился Питер Пастмастер, не состоялась. Питер вновь надел свою прежнюю форму и вернулся к прежнему образу жизни. Его полк был расквартирован в бараках в Лондоне, мать, как и прежде, жила в «Ритце», а большинство друзей, как и прежде, можно было встретить за стойкой бара Брэттс-клуба. Теперь, когда у него была уйма свободного времени, а перспектива настоящего дела хотя и отодвинулась на неопределенный срок, все же определяла его планы на будущее, – теперь Питера начали мучить угрызения династической совести. Ему тридцать три. Он любую минуту может убраться на тот свет.

– Мама, – сказал он, – тебе не кажется, что я должен жениться?

– На ком?

– На ком угодно.

– Не понимаю, как можно сказать: должен жениться на ком угодно.

– Не сбивай меня, дорогая. А вдруг меня убьют – вот я о чем.

– Невелико счастье для бедной девушки, я так полагаю, – ответила Марго.

– Мне хочется сына.

– А, ну тогда женись, милый. У тебя есть кто-нибудь на примете?

– Нет как будто.

– И у меня тоже. Надо подумать. По-моему, вторая дочь Эммы Гранчестер очень хорошенькая – попытай ее. Конечно, есть и другие, Я разужнаю.

Так Питер, которому все это было в новинку, начал выходить с молоденькими и очень достойными девицами. Поначалу он чувствовал себя неловко, но вскоре вполне освоился со своим новым положением. Все было просто, как апельсин. И очень скоро набралось с десятков матерей, достаточно старомодных, чтобы радоваться перспективе обрести в своем зяте викторианские преимущества старого дворянского титула, новое состояние и красивые ноги в синих брюках со штрипками.

– Питер, – сказала ему как-то Марго. – Ты когда-нибудь отрываешься от новых подруг, чтобы повидаться со старыми? Что с Анджелой? Я ее что-то совсем не вижу.

– По-моему, она вернулась в Англию.

– Она сейчас не с Безилом?

– Нет, не с Безилом.

А она по-прежнему жила на самом верху каменной коробки на Гровнер-сквер. Внизу под ней, слой за слоем, богатые мужчины и женщины приходили и уходили по своим делам – слой за слоем, вплоть до уровня улицы, а еще ниже, под землей, администраторы оборудовали подвал под бомбоубежище. Анджела редко выходила из квартиры – только раз или два в неделю, чтобы посмотреть кино, и всегда одна. Она завела привычку носить очки из дымчатого стекла и не снимала их ни дома, ни на улице; не снимала и в своей гостиной с приглушенным, скрытым освещением, когда час за часом просиживала у приемника, с графином и стаканом под рукой; не

снимала и тогда, когда гляделась в зеркало. Одна только Грейнджер, служанка, знала, что происходит с миссис Лин, но знала одну только внешнюю сторону. Грейнджер знала число бутылок, пустых и полных, в маленькой кладовой; видела лицо миссис Лин утром, когда щиты затемнения снимали с окон. (Теперь ей никогда не случалось будить миссис Лин; глаза той были всегда открыты когда служанка приходила будить ее; иногда миссис Лин, одетая, сидела в кресле; иногда лежала в постели, неподвижно глядя в пространство перед собой. Дожидаясь, пока ее окликнут.) Грейнджер знала, сколько подносов с едой приносилось снизу из ресторана и уносилось нетронутыми. Все это знала Грейнджер и, будучи девушкой недалекой и благоразумной, помалкивала; но поскольку она была девушкой недалекой и благоразумной, ей не дано было знать, что происходит в душе миссис Лин.

Снега сошли, и с ними вместе истаяли последние недели зимы; вскоре, не подозревая об опасностях войны, вернулись в свои наследственные владения ласточки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Безил вернулся в Лондон и к этому его вынудили два события. Во-первых, йоменские части снова переводились в сельскую местность в палаточные лагеря.

Фредди позвонил Барбаре.

– У меня добрая новость, – сказал он. – Мы возвращаемся домой.

– Как чудесно, Фредди, – сказала Барбара, приуныв. – Когда?

– Я прибуду завтра. Привезу с собой Джека Кэткарта, это наш новый заместитель командира. Нам надо разбить лагерь. Пока мы будем этим заниматься, будем жить в Мэлфри.

– Прекрасно, – ответила Барбара.

– Мы берем с собой слуг, так что никого не будем обременять. С нами еще два сержанта. За ними будет смотреть Бенсон. И еще, Барбара, как ты взглянешь на то, чтобы устроить лагерь в парке?

– Ой, Фредди, ради бога, не надо.

– Можно было бы открыть салон и разместить в нем столовую. Я мог бы жить дома. Тогда пришлось бы устроить в доме еще полковника Спроггина и, возможно, Кэткарта, ты не возражаешь?

– Ради бога, Фредди, ничего не решай в спешке.

– Я уже практически все решил. Увидимся завтра. Да, кстати, Безил еще у тебя?

– У меня.

– Боюсь, он не сумеет наладить блестящих отношений с Кэткартом. Ты не могла бы ему осторожно намекнуть?

Барбара, опечаленная, положила трубку и пошла отдавать распоряжения к приему Фредди и майора Кэткарта.

Безил был в Грэнтли Грин. Он вернулся после ужина и заметал Барбару еще на ногах.

– Милый, ты должен уехать.

– Верно. Как ты узнала?

– Приезжает Фредди.

– К черту Фредди. Кому он нужен? Приезжает Билл!

– Что она говорит?

– Хочешь верь, хочешь не верь, она рада-радешенька.

– Неблагодарная скотина, – сказала Барбара и после паузы: – Ты так и не написал книгу.

– Нет, зато нам было хорошо вместе, правда, Бэб? Совсем как в былые времена.

– Тебе, наверное, понадобятся деньги.

– Лишних денег у меня никогда не бывает, но в данный – момент я прямо-таки богат.

– Каким образом, Безил?

– Так, набежало по мелочам. Слушай-ка, что я сделаю перед отъездом: я еще разок сбуду с твоих рук Конноли. Пожалуй, я совсем не уделял им внимания последние недели.

Это повело ко второму событию, решившему его отъезд.

В своих разъездах между Мэлфрп и Грэнтли Грин Безил заметил славный оштукатуренный домик с садом и лужайкой, который показался ему отличным местом для Конноли. Он спросил о нем Барбару, но она ничего не могла ему сказать. Уверенный в безотказности своего метода, Безил понемногу распускался и больше не давал себе труда наводить справки, прежде чем выбрать очередную жертву. Оштукатуренный домик был взят на прицел, и на следующий день, впихнув Конноли в машину, он отправился обделывать свой последний бизнес.

Было десять часов утра, но он застал хозяина за первым завтраком. Тот явно не относился к разряду людей, с которыми Безил привык иметь дело. Он был моложе всех тех, кто предназначался «Только для приема в саду». Изувеченная нога, неловко торчащая вбок, объясняла, почему он не в форме. Покалечился в мотогонках, как он затем объяснил Безилу. У него были рыжеватые волосы, рыжеватые усы и недобрые розоватые глаза. Звали его мистер Тодхантер.

Заправлялся он почками, яйцами, сосисками, грудинкой и пережаренной отбивной, на каминной полке стоял чайник с заваркой. Казалось, будто он сошел с иллюстрации Лича к какойнибудь книге Сэртиса.

– Ну что ж, – сказал он осторожно, но приветливо. – Я слышал о вас. Вы брат миссис Сотилл из Мэлфри. Я не знаком с миссис Сотилл,

но много слышал о ней. Я не знаком и с капитаном Сотиллом, но много о нем слышал. Чем могу служить?

– Я уполномоченный по устройству эвакуированных в приходе, – сказал Безил.

– В самом деле? Очень интересно познакомиться. Валяйте дальше. Надеюсь, вы ничего не имеете против, если я буду есть.

Потеряв толику былой уверенности, Безил пустился в ставшую у него стереотипной вводную часть:

– ...Находить квартиры становится все труднее, особенно после того, как в Южном Грэплинге расположился зенитный дивизион и занял все коттеджи... Очень важно не допустить отлива эвакуированных в города... Плохое впечатление, если владельцы больших домов не вносят свою лепту... Естественно, нежелательно действовать в принудительном порядке, но в случае необходимости полномочия налицо... Трое детей, которых оказалось трудно устроить в других местах...

Мистер Тодхантер кончил завтракать, стал спиной к камину и качал набивать трубку.

– А что, если я не желаю принимать этих ваших трудных детей? – спросил он. – Что, если бы я охотнее уплатил соответствующую мзду?

Безил приступил ко второй части программы.

– Правительственного пособия едва хватает, чтобы покрыть расходы на питание... Серьезное затруднение для бедных семей... Бедные люди дорожат своим уютом, своими домашними богами даже еще больше, чем богатые... Есть возможность найти коттедж, где несколько фунтов скомпенсируют чистый убыток и даже дадут некоторый желанный доход...

Мистер Тодхантер слушал его молча.

– Так вот как вы это делаете, – сказал он наконец. – Благодарю вас. Это было очень поучительно, право, очень поучительно. Кусочек о домашних богах пришелся мне по душе.

До Безила стало доходить, что перед ним человек широких, и не вполне безопасных взглядов, человек, во многом похожий на него самого.

– В кругу людей более или менее образованных я говорю: лары и пенаты.

– Ничего, сойдут и домашние боги. Нет, правда, домашние боги – это здорово придумано. И сколько же вам обычно удается сорвать?

– Пока что мой минимум – пять фунтов, максимум – тридцать пять.

– Пока что? Вы что же, намерены и дальше продолжать это занятие?

– Не понимаю, почему бы и нет.

– Неужто не понимаете? Ну так слушайте, что я вам скажу. Вам известно, кто уполномоченный по устройству эвакуированных в этом приходе? Я. Приход миссис Сотилл кончается на шоссе. Переехав через перекресток, вы залезли на мою территорию. Ну, что вы скажите в свое оправдание?

– Стало быть, и Грэнтли Грин – ваши владения?

– Безусловно.

– Вот чудеса-то.

– Почему чудеса?

– Этого я не могу вам сказать. Только это уж такие чудеса, что дальше некуда.

– Так или иначе, на будущее попрошу вас держаться вашей стороны дороги. Не то чтобы я не благодарен вам за ваш визит, нет. Вы подали мне интересные идеи. Мне всегда казалось, что на этом деле можно заработать, только я не знал, как именно. Теперь знаю. Буду помнить про домашних богов.

– Минуточку, – сказал Безил. – Все это, видите ли, не так просто. На одной идее далеко не уедешь. К идее надо еще иметь Конноли. Нам с вами этого не понять, но факт остается фактом: очень многие в других отношениях нормальные люди охотно берут к себе детей. Они любят их. От этого они чувствуют себя добродетельными. Они любят топот маленьких ножек по дому. Я знаю, это звучит дико, но так оно есть на самом деле. Я вижу это на каждом шагу.

– Я тоже, – сказал мистер Тодхантер. – Абсурдно, но факт: они действительно делают из них домашних богов.

– Так вот, стало быть, Конноли. Это нечто особенное. Из них никто не может сделать домашних богов. Пойдите взгляните.

Они вышли на крупную, усыпанную гравием площадку перед крыльцом, где Безил поставил машину.

– Дорис, – сказал он. – Выйди, познакомься с мистером Тодхантером. Мики и Марлин выведи тоже.

Трое страшилищ детей выстроились шеренгой для осмотра.

– Сними шарф с головы, Дорис. Покажи мистеру Тодхантеру свою голову.

Несмотря на все свои старания, мистер Тодхантер не мог скрыть, что его проняло до глубины души.

– Да, – сказал он. – Вы правы. Это действительно что-то особенное. Извините за нескромный вопрос, сколько вы за них отдали?

– Они достались мне даром. Но я вложил в них кучу денег. Жареная рыба, кино и прочее.

– Как вы добились, чтобы девочка так покрасила волосы?

– Она сделала это сама, – ответил Безил. – Из любви.

– Да, это действительно что-то особенное, – с благоговейным трепетом повторил мистер Тодхантер.

– Вы еще ничего не видели. Их надо видеть за работой.

– Представляю, – сказал мистер Тодхантер. – Так сколько же вы за них просите?

– Десять фунтов за нос, и это еще дешево, просто уж я все равно закрываю лавочку.

Мистер Тодхантер был не из тех, кто торгуется, напав на хорошую вещь.

– По рукам, – сказал он.

– Так вот, дети, это ваша новая штаб-квартира, – обратился к Конноли Безил.

– Чтобы мы ее уродовали? – спросила Дорис.

– Это уж как скажет мистер Тодхантер. Я передаю вас ему.

Отныне вы будете работать на него.

– И больше никогда не будем с вами? – спросила Дорис.

– Никогда, Дорис. Но вот увидишь, ты полюбишь мистера Тодхантера не меньше, чем меня. Он очень красивый, правда?

– Вы красивее.

– Возможно, что так, зато у него великолепные рыжие усики, не правда ли?

– Да, усы недурны, – согласилась Дорис. Она критически озидала своего нового хозяина, сравнивая его с прежним. – Но он ниже вас

ростом.

– Черт побери, голубка, – раздраженно сказал Безил. – Как ты не понимаешь, что сейчас война? Мы все должны приносить жертвы. Подумай, сколько маленьких девочек были бы благодарны мистеру Тодхантеру. Посмотри, какой у него великолепный рыжий кумпол.

– Это точно, что рыжий.

Мистер Тодхантер устал от сравнений и заковылял в дом за чековой книжкой.

– А можно нам поуродовать его дом так, совсем немножечко? – печально спросил Мики.

– Пожалуй, можно. Только совсем немножечко.

– Мистер, – со слезами в голосе сказала Дорис, – поцелуйте меня на прощанье.

– Нет. Мистеру Тодхантеру это не понравится. Он страшно ревнивый.

– Правда? – спросила Дорис. – Я люблю ревнивых мужчин.

Когда Безил оставил ее, огонь ее кипучей, изменчивой страсти уже явно перекинулся на нового хозяина. Марлин на протяжении всего собеседования оставалась безучастной; у бедной девочки были ограниченные дарования, да и те ей разрешалось пускать в ход лишь в исключительных обстоятельствах.

– Можно, меня здесь потошнит, Дорис? Ну, разочек?

– Здесь – нет, милашечка. Потерпи, пока этот джентльмен распределит нас.

– А это долго?

– Нет, – решительно сказал мистер Тодхантер. – Недолго.

Так обрушившаяся на Мэлфри напасть переместилась южнее, в край яблоневых садов и огородов с коммерческим уклоном.

По всему парку Мэлфри, беспорядочно рассеиваясь под вязами, повысыпали брезентовые палатки, и офицеры йоменской части заняли под столовую салон с отделкой Гринлинга Гиббонса; Барбаре пришлось устроить у себя в доме полковника Спроггина и майора Кэткарта, и Фредди заработал на этом кругленькую сумму; Билл, в Солодовом Доме в Грэнтли Грин, изведal много часов блаженства с нежно любимой женой (и был вполне удовлетворен объяснением, почему взломана дверь в погреб). А Безил вернулся в Лондон.

II

Ему пришло на ум навеститься к матери, нанести ей один из своих редких и обычно непродолжительных визитов. Он застал ее в хлопотах и самом радужном расположении духа: она трудилась в пяти или шести благотворительных комитетах, призванных создавать максимум бытовых удобств военнослужащим, и регулярно встречалась со своими друзьями. Она встретила Безила радушно, выслушала, что нового у Барбары, рассказала, что нового у Тони.

– Да, я хотела с тобой кой о чем поговорить, – сказала она, проболтав с ним полчаса.

Не будь Безил приучен к материнским эвфемизмам, он мог бы подумать, что «кой о чем» они только что поговорили; но он слишком хорошо знал, что означало это «кой о чем». Это означало обсуждение его «будущего».

– У тебя на сегодня ничего не назначено?

– Нет, мама, пока нет.

– Тогда пообедаем дома. Вдвоем.

И в тот же вечер, после обеда, она сказала:

– Безил, я никогда не думала, что мне придется заговорить с тобою об этом. Разумеется, я рада, что ты так помог Барбаре с эвакуированными, но теперь, раз уж ты вернулся в Лондон, я должна сказать тебе: не мужская это работа, по-моему. В такое время, как сейчас, ты должен сражаться.

– Но послушай, мама, насколько мне известно, в данный момент никто особенно не сражается.

– Не виляй, дорогой, ты понимаешь, что я хочу сказать.

– Так ведь я же познакомился с тем полковником, как ты велела.

– Это так. Сэр Джозеф мне все объяснил. В гвардию берут только очень молодых офицеров. Но он говорит, есть сколько угодно других приличных частей, и там можно сделать куда более блестящую карьеру. Генерал Гордон был сапером, и я уверена, многие из тех, кто сейчас генералы, начинали простыми пулеметчиками. Я не хочу, чтобы ты болтался в форме по Лондону, как твой приятель Питер Пастмастер. Он тратит все свое время на девиц. Эта умница Эмма Гранчестер всерьез прочит его в мужья своей Молли, а Этти Флинтшир и бедная миссис Ван Антробус – своим дочкам. Не знаю, о

чем они думают. Я знала его отца. Марго устроила ему жуткую жизнь. Разумеется, это было задолго до того, как она вышла замуж за Метроленда, собственно говоря, его тогда еще и не звали Метролендом. Так вот, – сказала леди Сил, решительно преодолевая поток нахлынувших воспоминаний. – Я хочу, чтобы ты занялся чем-нибудь серьезным. Сэр Джозеф дал мне такую анкету, знаешь, которую заполняют, чтобы стать офицером. Речь идет о так называемом дополнительном запасе. Я хочу, чтобы ты заполнил ее до того, как отправишься спать. А там уж мы позаботимся о том, чтобы она попала куда следует. Я уверена: теперь, после того как свалили этого гнусного Белишу, все будет гораздо легче.

– Видишь ли, мама, я что-то не могу себя представить младшим офицером.

– Как бы не так, милый, – решительно сказала леди Сил. – Если бы ты начал служить, когда ушел из Оксфорда, ты был бы сейчас майором. Ну, а в военное время продвижение идет быстро, ведь столько убивают. Я уверена: как только ты попадешь в армию, тебе найдут широкое поле деятельности. Надо лишь с чего-то начать. Помнится, лорд Китченер говорил мне, что даже он был когда-то младшим офицером.

Вот как все было. Безилу вновь угрожала перспектива начать карьеру. «Не беспокойся, – сказал ему Питер Пастмастер. – Из дополнительного запаса никогда никого не берут». Но Безил беспокоился. Недоверие ко всякого рода анкетам глубоко коренилось в его душе. Он понимал, что ему в любой момент могут принести телеграмму с предписанием явиться в какой-нибудь барак у черта на куличках, где он и проторчит всю войну, подобно Смолвуду, уча три десятка ополченцев всесторонне использовать местность. Нет, вовсе не этим была мила ему война, а теми возможностями, которые она открывала никчемнику.

Три дня он был как на иголках и наконец решил зайти в военное министерство.

Он отправился туда без определенной цели, движимый убеждением, что в недрах этой обширной организации непременно найдется гусыня, которая снесет ему золотое яичко. В первые дни войны, когда он пытался заинтересовать власти своим планом аннексии Либерии, не раз случалось, что он лишь с трудом добивался

приема. Теперь он допускал, что, пожалуй, хватил тогда малость через край. Начальник имперского генерального штаба несомненно занятой человек. На этот раз он будет действовать скромненько.

Водоворот, клокодавший в начале сентября в вестибюле министерства, казалось бы, нисколько не убывал. Такая же – а быть может, грустно отметил он про себя, та же самая – толпа офицеров всех званий пыталась получить пропуска. Среди них он увидел единственную фигуру в штатском и тотчас признал в нем человека, с которым познакомился в министерстве информации.

– Привет, – сказал он. – По-прежнему торгуете бомбами? Маленький сумасшедший с чемоданом приветствовал его чрезвычайно радушно.

– Не хотят обращать внимания. В высшей степени безотрадное учреждение, – пожаловался он. – Не хотят впускать. Меня послали сюда из адмиралтейства.

– А вы пробовали министерство авиации?

– Бог с вами! Они-то и послали меня в министерство информации. Где я только не бывал. В министерстве информации, надо сказать, были необычайно вежливы. Совсем не то что внешние бурбоны, В министерстве информации всегда находили свободную минуту принять человека. Да только я всегда чувствовал, что ничего не добьюсь.

– Идемте со мной, – сказал Безил. – Мы пройдем. Ветераны ашантских и зулусских кампаний охраняли вход. Безил наблюдал, как они, остановили генерала. «Пожалуйста, заполните бланк, сэр, и кто-нибудь из посыльных проводит вас в отдел». Они могли справиться с любым человеком в форме, но Безил и сумасшедший коммивояжер были для них неизвестной величиной. Генерал-это всегда генерал, а человек в штатском может оказаться кем угодно.

– Ваши пропуска, господа, будьте любезны.

– Все в порядке, сержант, – сказал Безил. – За этого человека я ручаюсь.

– Да, сэр, но кто вы такой, сэр?

– Пора знать. ВР-тринадцать. Мы не заводим пропусков и не называем себя.

– Очень хорошо, сэр. Прошу прощения, сэр. Вы знаете, как пройти, или дать вам посыльного?

– Разумеется, знаю, – огрызнулся Безил. – Присмотритесь-ка лучше к этому человеку. Он не будет называть себя, и у него не будет пропуска, но, вероятно, вам придется часто видеть его здесь.

– Очень хорошо, сэр.

Двое в штатском прошли через бурлящую толпу военных в тишину коридоров за ограждением.

– Большущее вам спасибо, – сказал человек с чемоданом. – Куда мне теперь идти?

– Перед вами открыты все пути, – сказал Безил. – Не торопитесь. Идите куда захочется. Пожалуй, я бы на вашем месте начал с главного священника вооруженных сил.

– А где он помещается?

– Туда наверх, – неопределенно пояснил Безил. – Туда наверх и прямо-прямо.

Маленький человечек серьезно поблагодарил его, просеменил по коридору неровной, плохо координированной побегом сумасшедшего и исчез за поворотом лестницы. Не желая больше компрометировать себя актом милосердия, Безил повернул в противоположную сторону. Перед ним убегали в прекрасную перспективу двадцать или больше закрытых дверей, за каждой из которых мог открыться путь к славе и похождениям. Он пошел по коридору не спеша, но целеустремленно. С таким видом, думал он, идет на условленную встречу важный агент; с таким видом, наверное, шел по галерее суда в Джолифорде Мыльная Губка^[38].

Это была перспектива, полная скрытых возможностей, но в данный момент нуждавшаяся в орнаменте, – перспектива из линолеума и сумрачных панелей; свет приходил только с дальнего конца ее, так что возникшая в нем фигура, приближаясь, виднелась лишь силуэтом, притом довольно смутным силуэтом; фигура эта подходила все ближе, но лишь когда она оказалась в нескольких ярдах от него, тогда только сообразил Безил, что перед ним и есть то самое украшение, которого так недоставало суровой архитектурной схеме, – ибо это была девушка в форме, с нашивкой младшего капрала на плече и с лицом, отсвечивающим неземной глупостью, которая поразила Безила в самое сердце. Но, должно быть, классический этот образ принадлежал трезвой действительности, такую быструю, безмолвную и пронизывающую радость испытал Безил. Он

повернулся на месте и зашагал за младшим капралом по линолеумной дорожке, которая вмиг представилась ему веселой, как ковровая дорожка в театре или кино.

Младший капрал вел его долгим путем. Время от времени девушка останавливалась обменяться приветствием с проходящими военными, выказывая одинаковую игривую ласковость всем чинам, начиная от генералов и кончая скаутами второго класса; она явно пользовалась здесь успехом. В конце концов она свернула в дверь, на которой значилось: «Помза Внубе». Безил последовал за ней. В комнате был еще один младший капрал – мужчина.

Этот младший капрал сидел за пишущей машинкой – бледное прыщеватое лицо, большие очки и сигарета в углу рта. Он не поднял глаз на вошедших. Младший капрал-женщина улыбнулась и сказала:

– Ну вот, теперь вы знаете, где я живу. Заглядывайте почаще, когда будете проходить мимо.

– Кто такой Помза Внубе? – спросил Безил.

– Это полковник Плам.

– Кто такой полковник Плам?

– Ой, он такой милый. Подите взгляните на него, если хотите. Он у себя.

– И она кивнула на застекленную дверь с надписью «Не входить».

– ПОМОЩНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, – сказал младший капрал-мужчина, не поднимая глаз от машинки.

– Пожалуй, я бы согласился работать у вас, – сказал Безил.

– Все так говорят. Когда я сидел на пенсиях, то же говорили.

– Я мог бы занять его место.

– Милости просим, – сердито отозвался младший капрал-мужчина. – Весь день подозреваемые, подозреваемые, подозреваемые, все иностранные имена, и хоть бы одного расстреляли.

– Сюзи, поди сюда, потаскушка, – ворвался в разговор громкий голос из-за стеклянной двери.

– Это он, дорогуша. Взгляните на него разочек, когда дверь откроется. Усики у него просто прелесть.

Безил заглянул за дверь и увидел худое военное лицо и, как выразилась Сюзи, усики просто прелесть. Полковник увидел Безила.

– Это еще что за черт?

– Не знаю, – легкомысленно ответила Сюзи. – Взял да и вошел за мной следом.

– Эй вы, подите сюда, – сказал полковник. – Кто вы такой и что вам тут надо?

– Видите ли, – начал Безил, – все произошло в точности так, как вам доложили. Я просто вошел следом за младшим капралом. Но, раз уж я здесь, я мог бы сообщить вам ценные сведения.

– Если это так, то вы отрадное исключение у меня в отделе. В чем дело?

До сих пор понятие «полковник» связывалось в представлении Безила с обликом пожилого пенсионера-садовода из списка «Только для приема в саду». Однако эта грозная личность, одних с ним лет, была совсем другого поля ягода. Перед ним был второй Тодхантер. Что он, Безил, мог бы выдать ему за ценные сведения?

– Могу я говорить совершенно свободно при младшем капрале? – спросил он, стараясь выиграть время.

– Да, конечно. Она не понимает ни слова ни на каком языке.

Вдохновение пришло.

– По министерству бегают сумасшедший, – сказал Безил.

– Ну так что же? Их тут сотни. Это все, что вы хотели сказать?

– При нем полный чемодан бомб.

– Надеюсь, он сумеет добраться до службы разведки. Имени его вы, конечно, не знаете? Нет. Заведем на него карточку, Сюзи, с порядковым номером и внесем его в список подозрительных лиц. Если его бомбы взорвутся, мы узнаем, где он. Если нет – неважно. Эти типы обычно больше вредят себе, чем другим. Ну-ка, Сюзи, сбегай закрой дверь. Я хочу поговорить с мистером Силом.

Безил был ошарашен. Когда Сюзи закрыла дверь, он сказал:

– Неужели мы с вами уже встречались?

– Еще как. Джибут – тридцать шестой год, Сен-Жан-де-Люз – тридцать седьмой, Прага – тридцать восьмой. Вы меня, конечно, не помните. На мне не было тогда этой формы.

– Вы были журналистом?

Смутное, оживало в памяти Безила воспоминание о скромном, ненавязчивом лице среди сотни скромных, ненавязчивых лиц, которые время от времени появлялись и исчезали в его поле зрения. За последние десять лет ему под тем или иным предлогом не раз

удавалось выбираться на периферию новейшей истории, в тот полумир, что населен многочисленными, слегка, зловещими фигурами, орбиты которых скрещивались и пересекались, – вездесущими мужчинами и женщинами, вольнонаемными служащими армии дипломатов и прессы. Среди этих теней, как он с трудом припоминал, он видел и полковника Плама.

– Случалось. Мы как-то напились вместе в «Бар Баск», в ту ночь вы еще подрались с корреспондентом Юнайтед Пресс.

– Насколько мне помнится, он победил.

– Еще как. Мне пришлось отвезти вас в отель. Что вы сейчас делаете, кроме как подкатываетесь к Сюзи?

– У меня была мысль заняться контрразведкой.

– Так я и думал, – сказал полковник Плам. – Все хотят заниматься контрразведкой. Смотрите-ка! – прибавил он, когда глухой взрыв слегка потряс комнату. – Похоже, ваш сумасшедший добился успеха с бомбами. Выходит, вы накапали на него не зазря. Пожалуй, вы не хуже любого другого справитесь с работой.

Наконец-то он дождался ее, этой сцены, которую он так часто репетировал, – сцены из приключенческих рассказов его юности, лишь слегка подправленной и подновленной рукою мастера. Наконец-то он перед ним, этот худой, властный человек, который следил за всеми его шагами на жизненном поприще, говоря: «Наступит день, и родина найдет ему применение...»

– Какие у вас связи?

Да, какие у него связи? Аластэр Дигби-Вейн-Трамплингтон, Анджела Лин, Марго Метроленд, Питер Пастмастер, Барбара, новобрачная из Грэнтли Грин, мистер Тодхантер, Пупка Грин... Пупка Грин. Ага, голубушка.

– Я знаю нескольких очень опасных коммунистов, – сказал Безил.

– Интересно, есть ли они в нашей картотеке. Сейчас справимся. В настоящий момент мы не очень-то интересуемся коммунистами. Наши государственные деятели по некоторым соображениям побаиваются их. Но мы все же присматриваем за ними, так, между прочим. За коммунистов я не могу вам много заплатить.

– Видите ли, – с достоинством сказал Безил, – я пришел к вам с намерением послужить родной стране. Я не особенно нуждаюсь в деньгах.

– Как, черт побери? Что же вам тогда надо? Сюзи я вам не отдам. Я чуть ли не с дракой отбивал ее у этой старой скотины, что заведует пенсиями.

– Это мы решим потом. Форма – вот что мне действительно сейчас надо.

– Господи помилуй! Зачем?

– Мать грозитя сделать из меня взводного командира. Полковник Плам принял это несколько неожиданное заявление с явным сочувствием.

– Да, – сказал он, – Форма вещь неплохая, что и говорить. Так вот. Во-первых, вы будете говорить мне «сэр», а если попытаетесь завести шашни с женским персоналом, я применю дисциплинарные меры. Во-вторых, для человека с головой форма – наилучший способ маскировки. Никому и в голову не придет подозревать солдата в том, что он всерьез интересуется войной. Пожалуй, я могу вам это устроить.

– Какое у меня будет звание?

– Младший лейтенант, полк «Кросс и Блэкуэлл».

– «Кросс и Блэкуэлл»?

– Да, строевая служба.

– Ого! А вы не можете устроить что-нибудь получше?

– За наблюдение за коммунистами – нет. Поймайте мне фашиста – и я, может быть, сделаю вас капитаном морской пехоты. – Тут зазвонил телефон. – Да, это Помза Внубе... Да, да, бомба... Да, нам все известно... Главный священник? Очень прискорбно... Ах, только начальник службы военных священников, и вы полагаете, он поправится? К чему тогда весь этот шум?.. Да, мы в отделе все знаем об этом человеке. Он уже давно числится в нашей картотеке. Он с приветом. Да, да, все верно: папа, рыба, идиот, ваза, ель, тетя – привет. Нет, я не хочу его видеть. Заприте его как полагается. Надеюсь, у нас в здании хватает обитых войлоком камер.

Весть о покушении на главного священника дошла до отдела религии министерства информации поздно вечером, когда сотрудники уже собрались уходить. Она вызвала у всех приступ лихорадочной деятельности.

– Позвольте, – брюзгливо сказал Эмброуз. – Вам-то все на руку. А вот мне будет в высшей степени затруднительно объяснить это

редактору «Воскресного дня без бога в семейном кругу».

Леди Сил была потрясена.

– Бедняга, – сказала она. – Как я понимаю, он остался совсем без бровей. Опять, наверное, эти русские.

III

Третий раз со времени возвращения в Лондон Безил пытался дозвониться до Анджелы. Он слушал повторяющиеся гудки – пятый, шестой, седьмой, затем положил трубку. Еще не приехала, подумал он. Хорошо бы показаться ей в форме.

Анджела считала звонки – пятый, шестой, седьмой. Затем все стало тихо в квартире. Тишину нарушал лишь голос из приемника: «...Подлое покушение, потрясшее совесть цивилизованного мира. Телеграммы соболезнования непрерывным потоком поступают в канцелярию плавного священника от религиозных деятелей четырех континентов...»

Она настроилась на Германию; хриплый надменный голос говорил о «попытке Черчилля устроить вторую Атению, бросив бомбу в военного епископа».

Она повертела ручку настройки и поймала Францию. Здесь некий литератор делился впечатлениями о поездке на линию Мажино. Анджела наполнила стакан из бутылки, стоявшей у нее под рукой. Неверие во Францию стало у нее своего рода одержимостью. Оно не давало ей спать по ночам и вторгалось в ее дневные сны – длинные, томительные сны, порождаемые снотворным; сны, в которых не было ничего фантастического или неожиданного; чрезвычайно реалистические, скучные сны, которые, как и явь, не сулили радости. Прожив так долго совершенно одна, она теперь часто разговаривала сама с собой; так разговаривают одинокие старухи; ходят по улицам с мешками всякой ерунды в руках и, присев на корточки, мелют ерунду. Она и сама была как те старухи, что, сидя на пороге и роясь в собранной за день ерунде, разговаривают сами с собой и разбирают отбросы. Она часто видела и слышала таких старух по вечерам в улочках по соседству с театрами.

Сейчас она говорила сама с собой громко, словно обращаясь к кому-то на белой тахте в стиле ампир:

– Линия Мажино и Анджела Лин – линии наименьшего сопротивления, – и засмеялась своей шутке, и вдруг почувствовала слезы на глазах, и расплакалась не на шутку. Затем взяла себя в руки. Лучше пойти в кино...

Питер Пастмастер в тот вечер пригласил девушку в ресторан. Он выглядел очень элегантно и старомодно в синем офицерском кителе и длинных брюках в обтяжку. Они обедали в новом ресторане на Джермин-стрит.

Девушка была леди Мэри Медоус, вторая дочь лорда Гранчестера. Присматривая себе жену, Питер ограничил круг своих исканий тремя девицами: Молли^[39] Медоус, Сарой, дочерью лорда Флинтшира, и Бетти, дочерью герцогини Стейльской. Поскольку он собирался жениться из старомодных, династических побуждений, то и выбрать себе жену предполагал на старомодный, династический манер среди еще уцелевших представителей олигархии вигов. Собственно говоря, он не видел почти никакой разницы между тремя девушками и даже, случалось, обижал их, по рассеянности путая имена. Ни одну из них не обременял и фунт лишнего веса; все были горячими поклонницами мистера Хемингуэя; у всех были любимые собаки со схожими различиями. И все они быстро смекнули, что лучший способ развлечь Питера – это дать ему повод похвастать своими былыми бесчинствами.

За обедом он рассказывал Молли о том, как Безил выставлял свою кандидатуру на парламентских выборах и как он, Соня и Аластэр подложили ему свинью в его избирательном округе. Молли добросовестно смеялась, когда он описывал, как Соня бросила картофелиной в мэра.

– Некоторые газеты не разобрались толком, как было дело, и написали, что это была пышка, – объяснил он.

– Весело же вы проводили время, – грустно сказала Мэри.

– Все это было и прошло, – чопорно сказал Питер.

– Правда? Ну, а я надеюсь, что нет.

Питер взглянул на нее с вновь проснувшимся интересом. Сара и Бетти приняли его рассказ так, словно это была история о разбойниках с большой дороги – нечто чрезвычайно старомодное и затейливое.

После обеда они пошли в кино по соседству с рестораном.

Вестибюль был погружен в темноту, только в кассе слабо светила синяя лампочка. Голос кассирши говорил из темноты:

– За три шиллинга шесть пенсов мест нет. Много свободных мест за пять шиллингов девять пенсов. Пять шиллингов девять пенсов – сюда. Не загораживайте проход, пожалуйста.

У окошка кассы происходила заминка. Какая-то женщина тупо смотрела на синий свет и твердила:

– Мне не надо за пять шиллингов девять пенсов. Мне надо за три и шесть.

– За три и шесть нет. Только за пять и девять.

– Как же вы не понимаете? Дело не в цене. За пять и девять – это слишком далеко. Я хочу поближе, за три и шесть.

– Нет за три и шесть. Есть только за пять и девять, – отвечала девушка под синей лампочкой.

– Ну решайте же, леди, скорее, – сказал солдат, стоявший за женщиной.

– Она очень смахивает на миссис Лин, – сказала Молли.

– Да ведь это Анджела и есть, – сказал Питер. – Что с ней такое?

Анджела наконец купила билет и отошла от окошка, пытаясь разобрать в полутьме, что написано на билете, и недовольно ворча:

– Я же сказала, что это слишком далеко. Я ничего не вижу, когда сижу слишком далеко. Я же сказала: за три и шесть.

Она поднесла билет к самым глазам и, не заметив ступеньки, оступилась и села на пол. Питер подбежал к ней.

– Анджела, что с тобой? Ты не ушиблась?

– Со мной ничего, – отвечала Анджела, как ни в чем не бывало сидя на полу в полутьме. – Нисколько не ушиблась, благодарю вас.

– Господи, так вставай же.

Анджела близоруко сощурилась на него со ступеньки.

– Ах, это ты, Питер, – сказала она. – А я и не узнала тебя. С этих мест за пять шиллингов девять пенсов никого не узнаешь, слишком далеко. Как ты поживаешь?

– Да вставай же, Анджела.

Он протянул руку, чтобы помочь ей встать. Она сердечно пожалала ее.

– А как Марго? – любезно осведомилась она. – Я ее последнее время совсем не видала. У меня столько дел. Впрочем, это не совсем

так. По правде сказать, я не особенно хорошо себя чувствую.

В проходе начала собираться толпа. Из тьмы донесся голос кассирши, совсем по-полицейски сказавший:

– Что тут происходит?

– Подними ее, балда, – сказала Молли Медоус. Питер охватил Анджелу со спины и поднял. Она не была тяжела.

– Вставунюшки-поднимунюшки, – сказала Анджела, норovia снова сесть.

Питер крепко держал ее, радуясь темноте. Неподобающая ситуация для офицера королевской конной гвардии в форме.

– Леди стало дурно, – сказала Молли ясным, повелительным голосом. – Прошу вас, не толпитесь вокруг. – И кассирше: – Вызовите такси.

В такси Анджела молчала.

– Я этого... того... – сказал Питер. – Мне ввек не оправдаться перед тобой за то, что я впутал тебя в эту историю.

– Милый мой, не смей людей, – сказала Молли Медоус. – Мне очень даже весело.

– Ума не приложу, что с ней такое, – сказал он.

– Неужели?

Когда они приехали на Гровнер-сквер, Анджела вышла из такси и озадаченно огляделась.

– А я думала, мы собирались в кино, – сказала она. – Что, плохая картина?

– Билетов не было.

– А, помню, – сказала Анджела, энергично кивая. – Пять шиллингов девять пенсов.

Тут она снова села, прямо на тротуар.

– Послушай, – сказал Питер леди Мэри Медоус. – Бери такси и езжай обратно в кино. Оставь мне билет в кассе. Я буду через полчаса. Мне кажется, лучше довести Анджелу до квартиры и вызвать врача.

– Дудки, – сказала Молли. – Я поднимусь с тобой. Перед своей дверью Анджела вдруг встряхнулась, нашла ключ, отперла замок и твердым шагом вошла в квартиру. Грейнджер еще не спала.

– Зачем вы остались? – сказала Анджела. – Я же сказала, что вы мне не понадобятся.

– Я очень беспокоилась. Вам не следовало выходить. – И увидев Питера: – Ах, добрый вечер, милорд.

Анджела повернулась и поглядела на Питера, словно впервые увидела его.

– Привет, Питер, – сказала она. – Заходи. – Она рассматривала Молли, с видимым усилием сосредоточивая на ней свой взгляд. – А знаете, – сказала она, – я, конечно, очень хорошо вас знаю, вот только не могу вспомнить вашего имени.

– Молли Медоус, – сказал Питер. – Мы просто довели тебя до квартиры. Теперь нам надо идти. Грейнджер, миссис Лин нездоровится. По-моему, лучше вызвать врача.

– Молли Медоусе... Господи боже, я, случалось, гостила в Гранчестере, еще когда вы пешком под стол ходили. Кажется, это было давно-давно... А вы хорошенькая, Молли, и платье у вас красивое. Заходите. Заходите оба. Питер корчил гримасы, но Молли вошла.

– Найди себе что-нибудь выпить, – сказала Анджела, усаживаясь в кресло возле приемника. – Детка, – обратилась она к Молли, – по-моему, вы еще не видели мою квартиру. Дэвид Леннокс отделал ее в самый канун войны. Дэвид Леннокс... Люди говорят много недоброго о Дэвиде Ленноксе... Ну да бог с ними... – Ее сознание вновь начало затуманиваться. Она сделала решительную попытку овладеть собой. – Это мой портрет, его писал Джон. Десять лет назад. Он был почти готов, когда я вышла замуж. А это мои книги... Ах, что это я сегодня такая рассеянная. Извините меня. – И с этими словами она забылась тяжелым сном.

Питер беспомощно озирался. Молли спросила у Грейнджер:

– Может, уложить ее в постель?

– Когда она проснется, я буду здесь. Я управлюсь.

– Это точно?

– Совершенно точно.

– Ну что же, Питер, тогда пошли в кино.

– Хорошо, – ответил он. – Ради бога, прости, что я тебя сюда притащил.

– Что ты! Это так интересно! Питер все еще не мог успокоиться.

– Грейнджер, – сказал он, – миссис Лин выходила сегодня вечером? В гости или куда-нибудь еще?

– Нет, милорд. Она весь день была дома.

– Одна?

– Совсем одна, милорд.

– Странно. Ну что же, Молли, пошли. Спокойной ночи, Грейнджер. Присматривайте за миссис Лин. По-моему, ей следовало бы обратиться к врачу.

– Я присмотрю, – сказала Грейнджер. Они молча спустились в лифте, оба в глубокой задумчивости. В парадном Питер сказал:

– Чудно.

– Очень чудно.

– Знаешь, – сказал Питер, – не будь это Анджеला, я бы решил, что она под мухой.

– Милый мой, она вдребезги пьяна.

– Ты уверена?

– О господи, вдребезжину.

– Не знаю, что и подумать. Оно, конечно, на то похоже, но чтобы Анджела... К тому же служанка говорит, она весь вечер сидела дома. То есть, я хочу сказать, напиться в одиночку... Молли вдруг обхватила Питера за шею и крепко поцеловала.

– Боже мой! – сказала она. – Ну, идем же в кино. С Питером впервые случилось, чтобы его так целовали. Он до того удивился, что не сделал в такси попытки продолжать в том же духе, и весь сеанс просидел, думая только об этом. «Боже, храни короля» встряхнул его и вернул к действительности, Задумчивость не покидала его и тогда, когда они пошли с Молли ужинать. Это истерия, решил он; вполне естественно, девушку расстроила недавняя сцена. Должно быть, ей сейчас ужасно неловко, так что уж лучше об этом не заговаривать.

Но Молли не была намерена оставить свой шаг без последствий.

– Устрицы, – сказала она. – Дюжину. Больше ничего. – И затем, не дожидаясь, пока официант уйдет: – Ты удивился, когда я тебя поцеловала?

– Нет, – поспешно сказал Питер. – Конечно, нет. Нисколько.

– Нисколько? Уж не хочешь ли ты сказать, что ты ожидая этого от меня?

– Нет, нет. Разумеется, нет. Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать.

– Представь себе, не понимаю. Ты ужасно самонадеянный, если не удивился. Ты всегда производишь на девушек такое впечатление или это все только твоя форма?

– Молли, не будь свиньей. Если хочешь знать да, я в самом деле удивился.

– И был поражен?

– Нет, только удивился.

– Ладно, – сказала Молли, решив больше его не мучить. – Я сама удивилась. Все кино только об этом и думала.

– И я, – сказал Питер.

– Вот так, хорошо! – сказала Молли тоном фотографа, который ловит удачное выражение на лице клиента. – Не двигайся! – добавила она, сама подметив это сходство.

– Право, Молли, я что-то совсем тебя сегодня не понимаю.

– Ах, Питер, поймешь, обязательно поймешь. По-моему, ты был в детстве прелестным маленьким мальчиком.

– Да, наверное, пожалуй, что так.

– Зачем же тебе строить из себя старого распутника, Питер? Уж передо мной-то? И не притворяйся, будто не понимаешь, о чем речь. Я люблю, когда ты удивляешься, Питер, но абсолютный кретинизм – это уж слишком. Знаешь, я чуть было не поставила на тебе сегодня крест. Ты все фигуриал, каким ты был раньше беспутником. Я думала, я никогда не смогу на это решиться.

– Решиться на что?

– Выйти за тебя. Матери страшно этого хочется, никак не могу взять в толк почему. По-моему, с ее точки зрения ты мне никак не подходишь. А она ни в какую – ты должна выйти только за него. И вот я старалась быть хорошей, слушала, как ты заливаешь про добрые старые денечки, и под конец мне захотелось стукнуть тебя чем-нибудь по голове. Ну, думаю, сил моих больше нет, скажу матери, что ставлю на тебе крест. А потом мы наткнулись на миссис Лин, и все стало хорошо.

– Мне было страшно неловко.

– Ну еще бы. Ты был совсем как мальчик из пансиона, когда его отец пришел на спортивные состязания не в той шляпе. Очаровательный маленький мальчик.

– Ну что ж, – сказал Питер. – Если ты довольна...

– Да, пожалуй, я именно что «довольна». Ты сойдешь. А Сара и Бетти пусть грызут себе локти.

– Как же ты решил? – спросила Марго, когда Питер рассказал ей о свидании.

– Да ведь, собственно говоря, решал-то не я, а Молли.

– Так оно всегда и бывает. Пожалуй, теперь мне надо оказать какую-нибудь любезность этой дуре Эмме Гранчестер.

– Я мало знакома с леди Метроленд, – сказала леди Гранчестер. – Но, пожалуй, не мешает теперь пригласить ее на завтрак, Боюсь, она для нас слишком шикарна. – И слово «шикарна» леди Гранчестер сказала совсем не в виде комплимента.

Однако матери встретились и свадьбу решили сыграть немедленно.

IV

Помолвка Питера ни для кого не явилась сюрпризом, а если бы и застала всех врасплох, ее затмил бы рассказ о столь экстраординарном поведении Анджелы в кино. Правда, Питер и Молли, прежде чем расстаться в тот вечер, условились никому не рассказывать о происшествии, однако каждый шел на этот акт самоотречения с мысленной оговоркой. Питер рассказал обо всем Марго – потому что хотел, чтобы она что-нибудь предприняла по этому поводу; Безилу – потому что все еще затруднялся дать верное толкование этой загадочной истории и полагал, что именно Безил способен внести ясность в дело; а также трем завсегдатаям Брэттс-клуба – потому что случайно встретился с ними в баре на следующее утро, когда еще был полон случившимся. Молли рассказала все двум своим сестрам и леди Саре – по давней привычке, потому что, обещая держать что-нибудь в секрете, она всегда с самого начала подразумевала, что этим трем рассказать можно. Посвященные, в свою очередь, рассказали своим друзьям, и в конце концов по всему Лондону разнеслась весть, что выдержанная, циническая, отчужденная, безупречно одетая, донельзя исполненная чувства собственного достоинства миссис Лин; миссис Лин, которая никогда не «выходила» в общепринятом смысле, а жила в завидном кругу избранных и утонченных; миссис Лин, которая умела говорить как самый умный мужчина, которая ухитрялась не попадать в светскую хронику газет и иллюстрированных журналов и которая вот уже

пятнадцать лет являла собой высший и единственный в своем роде образец всего того, что американцы называют «уравновешенностью», – эта чуть ли не легендарная женщина была подобрана Питером в сточной канаве, куда, как она ни упиралась, ее выбросили двое вышибал из кинотеатра, где она учинила пьяный дебош.

Случись такое с самой миссис Ститч, это едва ли произвело бы более сильное впечатление. Это было невероятно, и многие отказывались этому верить. Возможно, наркотики, говорили они, но о спиртном не может быть и речи. Чем были Парснип и Пимпернелл для интеллигенции, тем стали миссис Лин и бутылка для фешенебельного общества: темой для разговора номер один.

Тема эта оставалась темой номер один и три месяца спустя, на свадьбе Питера. Безил уговорил Анджелу прийти на скромный прием, который устраивала в честь этого события леди Гранчестер.

Он зашел к Анджеле, когда Питер сообщил ему новость; зашел не сразу, но, во всяком случае, в первые же сутки, как услышал се. Анджела была на ногах и одета, но вид имела невыразимо забубенный: накрашена как попало, кричащими мазками, в духе позднего Утрилло.

– Анджела, ты выглядишь ужасно.

– Нет, милый, я чувствую себя ужасно. Ты, я вижу, в армии.

– Нет, только при военном министерстве.

Она вдруг с жаром и ни к селу ни к городу начала говорить о французах.

– Прости, я должна оставить тебя на минутку, – сказала она немного погодя и исчезла в спальне. Через полминуты она вышла обратно с едва заметной рассеянной улыбкой – улыбкой внутреннего довольства, какую случается видеть на лице усталой старой монашки – почти. Разница все же была.

– Анджела, – сказал Безил, – когда ты хочешь выпить, почему бы тебе не пить в открытую с другом.

– Не понимаю, о чем ты говоришь, – сказала она. Безил был поражен. Анджела никогда не притворялась, во всяком случае с ним.

– Перестань сейчас же, – сказал он. Она перестала и заплакала.

– Ради бога, не надо, – сказал Безил, прошел в спальню и палил себе виски из бутылки, стоявшей возле кровати.

– Тут на днях, вечером, ко мне заходил Питер с девушкой. Наверное, они всем и рассказали.

– Мне он рассказал. Почему ты не перейдешь на ром? Это для тебя гораздо полезнее.

– Правда? Я, кажется, никогда его не пробовала. Ты думаешь, он мне понравится?

– Я пришлю тебе несколько бутылок. Когда у тебя начался этот запой?

Все притворство с Анджелы как рукой сняло.

– Ах, много недель назад.

– Я тебя не узнаю.

– Правда, Безил? Правда?

– Ты всегда ела меня поедом, когда у меня начинался запой.

– Да, правда, помню. Прости меня. Но ведь тогда, ты знаешь, я была влюблена в тебя.

– Была?

– Ах, не знаю. Налей стаканы, Безил.

– Вот умная девочка.

– «Была» – это я неправду сказала, Безил. Я и сейчас люблю тебя.

– Ну разумеется. Ты пьешь это так, без воды? – с почтением спросил он.

– Да, так.

– Чуток крепковато, а?

– Да, крепковато.

– Я все же думаю, мы больше приспособлены к ремю.

– А он не пахнет?

– По-моему, это неважно.

– Я не люблю, когда пахнет.

– Так ведь виски-то пахнет.

– Да, пожалуй, и вправду неважно. Как хорошо нить с тобой, Безил.

– Ну конечно. По-моему, довольно подло с твоей стороны было пить без меня.

– Я не подлая.

– Раньше-то не была. Но последнее время ты подличала, разве неправда? Пила в одиночку.

– Да, это было подло.

– Так вот, в следующий раз, как вздумаешь запить, дай мне знать. Просто позвони, и я приду. Будем пить вместе.

– Мне хочется так часто, Безил.

– Ну, я и буду приходить часто. Обещаешь?

– Обещаю.

– Вот умная девочка.

Ром успеха не имел, но в общем соглашение себя оправдало. Анджела стала пить гораздо меньше, а Безил гораздо больше, и в итоге оба были довольны.

Марго приступила к Безилу с допросом.

– Что с ней? – сказала она.

– Ей не нравится война.

– Война никому не нравится.

– Разве? Я бы не сказал. Ну и вообще, почему женщине нельзя выпить?

– Тебе не кажется, что ее следовало бы отправить в заведение?

– Господи помилуй, конечно, нет.

– Она ни с кем не видится.

– Она видится со мной.

– Да, но...

– Нет, честное слово, Марго, с Анджелой все в порядке. Ей нужна была небольшая разрядка все эти годы. Если хочешь, я приведу ее на свадьбу, сама увидишь.

Так Анджела попала на свадьбу. Они с Безилом не присутствовали на венчании в церкви, а пошли прямо на прием в доме леди Гранчестер и произвели там фурор. Молли уже пожалала свои лавры: была ей и сдвоенная шеренга кавалеристов, и сабельный салют, и старинное кружевное покрывало. Несмотря на то, что время было военное, венчание прошло очень мило, Ну, а в доме ее матери все глаза были устремлены на миссис Лин. Даже леди Энкоридж и герцогиня Стейльская не могли скрыть своего любопытства.

– Господи боже, она тут.

Да, она была тут. В несравненном туалете стояла она возле Безила и степенно разговаривала с Соней; на ней были темные очки, а больше ничего необычного в ней не было. Лакей принес поднос с шампанским.

– А нет ли у вас чашки чаю? – просила она. – Просто чаю, без сахара и сливок.

Молли и Питер стояли в одном конце длинной гостиной, она в другом. Когда гости, поздравив новобрачных, выходили в зал, можно было заметить, как при виде Анджелы они настораживаются и переглядываются, указывая на нее глазами. Вокруг нее собрался кружок избранных, и она вела беседу как самый умный мужчина. Когда последние гости пожали новобрачным руки – а гостей было сравнительно немного, – Молли и Питер присоединились к группе в другом конце зала.

– Молли, вы самая прелестная девушка из всех, каких я знаю, – сказала Анджела. – Боюсь, я вам ужасно надоела тогда, помните?

Девушка глупая растерялась бы и сказала: «Нет, что вы, совсем нет». Молли сказала:

– Только не надоели. Вы были просто немного странная.

– Да, – сказала Анджела. – Странная – вот именно. Но, знаете, я не всегда такая.

– Можно нам с Питером как-нибудь прийти к вам? У него только неделя отпуска, а потом мы снова будем в Лондоне.

– Питер выбрал себе необычайно славную девушку, – сказала Анджела Безилу, когда они пришли после приема к ней на квартиру. – Вот бы и тебе на такой жениться.

– Я ни на ком не смог бы жениться, разве что на тебе.

– Верно. И я так думаю, Безил.

Они наполнили стаканы, и Анджела сказала:

– Знаешь, я старею, наверное, мне уже нравятся свадьбы. Эта девушка мне понравилась. А знаешь, кто был у меня сегодня утром? Седрик.

– Вот чудно.

– Право, это было так трогательно. Он пришел проститься. Завтра уезжает. Он не мог сказать куда, но предполагаю, что в Норвегию. Я как-то не представляла себе его солдатом, но ведь он действительно был солдатом до того, как женился на мне, – плохим, наверное. Бедняга, как не повезло ему в жизни.

– Ну, не так уж плохо он жил. Он с удовольствием колупался в своих гротах. И потом – у него Найджел.

– Он привел Найджела сегодня утром. Его отпустили на день из школы проститься с отцом. Ты не знал Седрика, когда мы поженились. Он был чрезвычайно романтической натурой – по-настоящему. Я никогда таких не встречала. Друзья отца были все люди богатые и черствые – вроде Метроленда и Коппера. Я других и не видела. А тут вдруг встретила с Седриком, он был беден и очень, очень мягкий. Высокий, гибкий и тонкий, и очень несчастный в своем нудном отборном полку, потому что он любил только русский балет и барочную архитектуру. Он был необычайно обаятелен и то и дело подсмеивался втихомолку над людьми вроде моего отца и офицерами-однополчанами. Бедный Седрик, мне всегда было так приятно находить ему новые игрушки. Как-то раз я купила ему осьминога, и мы заказали для аквариума каркас с резными дельфинами, отделанный листовым серебром.

– Этого не хватило бы надолго, если б даже я не встретил тебя.

– Да, надолго бы этого не хватило. Мне кажется, этот утренний визит немало его разочаровал. Он думал, у нас все будет на высокой трагической ноте, а я то, милый, у меня с похмелья так голова болела, что я не могла глаз раскрыть. Он беспокоится, что станет с домом, если его убьют.

– Почему это его убьют?

– Вот именно, почему? Разве только потому, что он всегда был такой плохой солдат. Знаешь, когда началась война, я совсем было решила, что и тебе туда же дорога.

– Мать тоже так решила. Но я принимаю против этого меры. Да, кстати, хорошо, что напонила: мне надо заглянуть к полковнику Пламу. Он, должно быть, уже беспокоится. Я пойду.

– Он и сейчас на месте?

– Он никогда не уходит. Очень добросовестный офицер.

Сюзи тоже была на месте – дожидалась, когда полковник освободится и поведет ее обедать. При виде знакомой канцелярии приподнятое настроение Безила упало. Работа в военном министерстве напоминала ему о том, что он идет юдолью всех других; как только он получил ее, она потеряла для него всякую притягательность. Да и Сюзи не оправдывала его ожиданий, как он к ней ни подкатывался, она явно предпочитала полковника Плама.

– Добрый вечер, миленочек, – сказала она. – Пламуля уже спрашивал про тебя.

Безил прошел в дверь с надписью «Не входить».

– Добрый вечер, полковник.

– Вы можете говорить мне «сэр».

– В лучших полках никто не говорит командиру «сэр».

– Вы не в лучшем полку. Вы в строевой части. Что вы весь день делали?

– Вы не думаете, что общий тон вашего отдела улучшится, если я буду называть вас «полковник», сэр?

– Не думаю. Где вы были и что делали?

– Вы думаете, что я пьянствовал, не так ли?

– Я в этом уверен, черт подери.

– Но вы не знаете причины. И, наверное, не поймете, если даже я вам скажу. Я пьянствовал из рыцарских побуждений. Это ни о чем вам не говорит?

– Нет.

– Я так и думал. В вас нет тонкости, сэр. Если на моей могиле напишут: «Он пьянствовал из рыцарских побуждений», это будет трезвая правда-истина. Но вам этого не понять. Больше того, вы думаете, что я лоботрясничал, не так ли?

– Совершенно верно.

– Так вот, сэр, как раз тут-то вы и ошибаетесь. Я иду по очень интересному следу и вскоре надеюсь получить некоторые ценные сведения.

– Что вы имеете на сегодняшний день?

– Не предпочли бы вы несколько подождать, пока я не представлю вам дело в законченном виде?

– Нет.

– Тогда так. Я слежу за одной очень опасной женщиной, именующей себя Грин. Среди ближайших друзей она известна под кличкой «Пупка». Она выдает себя за художницу, но стоит только взглянуть на ее творения, и вы поймете, что это только ширма для деятельности совсем иного рода. Ее ателье – явка коммунистической ячейки. У нее есть агент в Соединенных Штатах по имени Парснип, он же Пимпернелл. Он выдает себя за поэта, вернее сказать, даже за

двух поэтов, но опять-таки его творения выдают его с головой. Хотите, я почитаю вам что-нибудь из Парснипа?

– Нет.

– Я имею основания полагать, что Грин является главой подпольной организации, которая нелегальным путем переправляет за границу молодых людей призывного возраста. Вот по какому следу я иду. Что вы об этом думаете?

– Лажа.

– Я предполагал, что вы так скажете. Но вы ошибаетесь. Дайте мне время, и я представлю вам отчет получше.

– Нет, займитесь-ка делом. Вот вам список, тут тридцать три адреса предполагаемых фашистов. Проверьте их.

– Прямо сейчас?

– Прямо сейчас.

– А надо следить за женщиной, именующей себя Грин?

– Не в служебные часы.

– Понять не могу, чего вы нашли в этом Пламе, – сказал Безил, выйдя из кабинета. – Это просто угодничество с вашей стороны.

– Нет. Это любовь. Офицер, ведающий пенсиями, был еще выше чином, так-то вот.

– Надеюсь, вас еще разжалуют в рядовые. Между прочим, капрал, вы можете говорить мне «сэр».

Сюзи задорно хихикнула.

– Ой, да вы никак пьяны, – сказала она.

– Пьян из рыцарских побуждений, – сказал Безил.

В тот вечер Седрик Лин отбыл в полк. Двухсуточный отпуск, который давался перед отправкой за границу, кончился, и хотя он предпочел выехать на час раньше, лишь бы не ехать поездом специального назначения, он с большим трудом нашел вагон, где не было братьев офицеров, рассудивших так же, как он. Они отправлялись на Север, с тем чтобы уже на рассвете погрузиться на пароход и отплыть прямо в бой.

Вагон первого класса был набит битком – четыре человека с каждой стороны, горы багажа на сетках. Из черных, раструбом, воронок падал на колени пассажиров свет; лиц их в темноте нельзя

было разглядеть. В одном углу мирно спал морской офицер – капитан интендантской службы; двое штатских, ломая глаза, читали вечерние газеты; остальные четверо были солдаты. Седрик сидел между двумя солдатами, смотрел на горы багажа, неясно маячившие над головами штатских, и мысленно пережевывал последнюю горечь событий последних двух дней.

Поскольку ему было тридцать пять лет и он говорил по-французски, а создан был скорее другом граций, чем хватом, его сделали батальонным офицером разведки. Он вел военный дневник, и в дождливые дни ротные командиры нередко заимствовали офицера разведки для проведения занятий по чтению карт, боевому обеспечению и боевому порядку немецкой пехотной дивизии. Это были его дежурные лекции. Когда они исчерпались, его послали на курсы химической подготовки, а потом на курсы дешифровки аэрофотоснимков. На учениях он втыкал в карту флажки и подшивал полевые донесения.

– Право, у вас не будет много работы, пока нас не введут в дело, – сказал ему командир. – Свяжитесь-ка по телефону с фотографами в Олдершоте и договоритесь о групповом снимке офицеров полка.

Его поставили заведовать офицерской столовой и отравляли ему обеды жалобами.

– У нас опять вышел кюммель, Седрик.

– Уж наверное существует какой-нибудь очень простой способ не дать супу остыть, Лин.

– Если офицеры забирают газеты домой, единственно, чем тут можно помочь, – это выписать побольше газет.

– В баке опять нет воды.

Такова была его жизнь, но Найджел ничего этого не знал. Для восьмилетнего Найджела отец был воин, герой. Когда им дали отпуск, Седрик позвонил директору школы, в которой учился Найджел, и сын встретил его на станции. Он был так горд за отца и так рад непредвиденным каникулам, что ночь, проведенная ими дома, стала для него захватывающим переживанием. Дом был отдан под пустующие больничные палаты, в распоряжение праздного госпитального персонала. Седрик с сыном поместились на ферме, где перед своим отъездом Анджела обставила несколько комнат мебелью, взятой из дома. Найджел так и сыпал вопросами. Почему у Седрика

пуговицы расположены не так, как у большинства отцов и братьев его школьных товарищей; какая разница между пулеметом Брена и пулеметом Викерса; насколько наши истребители быстрее немецких; правда ли, что у Гитлера бывают припадки – так говорил ему один мальчик, – и если правда, то пускает ли он изо рта пену и закатывает ли глаза, как случилось однажды с их привратницей.

В тот вечер Седрик долго прощался со своим водным садом. Собственно говоря, ради воды они и выбрали это место десять лет назад, сразу после помолвки. Вода вытекала из ясного обильного родника на склоне холма над домом и, падая несколькими естественными каскадами, пополняла изрядный ручей, который уже с большим достоинством протекал через парк. Они с Анджелой выбрались на пикник и завтракали у родника, глядя вниз на симметричное, прямоугольное здание под ними.

– Это подойдет, – сказала Анджела. – Я предложу им пятнадцать тысяч.

Он никогда не испытывал неловкости оттого, что женат на богатой женщине. Он женился не ради денег в грубом смысле, но он любил все те прекрасные, замечательные вещи, которые можно купить на деньги, и немалое состояние Анджелы делало ее втрое прекрасной и замечательной в его глазах. Удивительно, что они вообще встретились. Он уже несколько лет служил в полку – так хотел отец, только при этом условии выдававший сыну пособие, без которого тот никак не мог обойтись. Другого выхода у него не было, разве что пойти в конторские служащие, а военная служба мирного времени, несмотря на докучную компанию, все же доставляла достаточно блистательных зрелищ, чтобы занять его воображение. Он получил хорошее образование; он был прекрасным наездником, но ненавидел тяготы лисьей охоты; он был отличным стрелком, и поскольку это была единственная тоненькая ниточка, связывавшая его с братьями офицерами, а также оттого, что приятно было делать что-либо лучше других, он принимал приглашения на фазанью охоту от людей, с которыми в перерывах между выездами на охоту чувствовал себя потерянным и одиноким. У отца Анджелы были прославленные на весь Норфолк охотничьи угодья; было у него, как сказали Седрику, и собрание французских импрессионистов, и вот туда-то десять лет назад, осенью, и попал Седрик. Картины оказались слишком

беспорными, дичь слишком ручной, а общество неописуемо скучным, исключая Анджелу, уже вышедшую из того возраста, когда девушка начинает выезжать в свет, и живущую теперь отчужденно в холодном и таинственном одиночестве, которое она сама вокруг себя создала. Поначалу она отбивала все посягательства на оборонительные сооружения, которыми отгородилась от шумливого мира, но потом, совершенно неожиданно, признала Седрика за своего человека, как и она сама, чужого в здешних пределах, но в отличие от нее способного понять тот, другой, куда более великолепный и достижимый окружающий мир. Ее отец считал Седрика ничтожеством, но записал на них несметное состояние и предоставил им идти своим путем.

И вот перед ним был итог этого пути. Он стоял у родника, который был теперь заключен в маленький храм – украшенный сталактитами архитрав, усеянный настоящими раковинами купол, Тритон, у ног которого била ключом вода. Они купили этот храм в медовый месяц на одной заброшенной вилле на холмах под Неаполем.

Внизу, на склоне холма, помещался грот, который он купил в то лето, когда Анджела отказалась поехать с ним в Зальцбург – лето, когда она встретила Безила. Потянувшимся за тем летом одиноким, унижительным годам каждому был поставлен памятник.

– Папа, чего ты ждешь?

– Просто смотрю на гроты.

– Но ведь ты видел их тысячи раз. Они не меняются. Они не меняются; радость навечно; совсем не то что мужчины и женщины, их любовь и ненависть.

– Папа, вон аэроплан. Это «харикейн»?

– Нет, Найджел, это «спитфайр».

– А как ты их узнаешь?

И тут, повинувшись внезапному побуждению, он сказал:

– А не съездить ли нам в Лондон, Найджел, повидать маму?

– И еще мы можем посмотреть «У льва есть крылья». Ребята говорят, это страшно мировое кино.

– Отлично, Найджел, мы увидим и маму и фильм. И вот они поехали в Лондон ранним утренним поездом. «Давай сделаем ей сюрприз», – сказал Найджел. Но Седрик прежде позвонил, с

отвращением вспомнив анекдот про педантичного прелюбодея: «Дорогая моя, для меня это только сюрприз. Для тебя же это удар».

– Я хочу повидать миссис Лин.

– Она сегодня неважно себя чувствует.

– Вот как? Очень жаль. Она сможет нас принять?

– Думаю, что да, сэр. Сейчас спрошу... Да, мадам будет очень рада видеть вас и мастера Найджела.

Они не виделись три года, с тех пор, как обсуждали вопрос о разводе. Седрик прекрасно понимал чувства Анджелы; странное дело, думал он, ведь некоторые люди боятся развода из любви к свету; они не хотят попадать в такое положение, когда их присутствие могло бы стать нежелательным, им хочется сохранить право входа за загородку для привилегированных на скачках в Аскоте. Однако у Анджелы нежелание оформить развод шло от совершенно противоположных соображений. Она не терпела никакого вмешательства в свою личную жизнь, не хотела отвечать на вопросы в суде или дать повод ежедневной газете напечатать о ней заметку.

– Ты ведь, кажется, не собираешься жениться, Седрик?

– А ты не думаешь, что при нынешнем положении дед я выгляжу несколько глупо?

– Седрик, что это на тебя нашло? Ты никогда так не говорил.

Он сдался и в тот год перекрыл ручей мостиком в Китайском Вкусе, прямо от Бэтти Лэнгли.

Пять минут, которые он прождал, прежде чем Грейнджер провела его в спальню Анджелы, он с отвращением рассматривал гризайли Дэвида Леннокса.

– Они старые, папа?

– Нет, Найджел, не старые.

– Фигня какая-то.

– Совершенно верно.

Регентство: век Ватерлоо и разбойников на больших дорогах, век дуэлей, рабства и проповедей религиозного возрождения... Нельсону отняли руку без всякого обезболивания, на одном роме... Ботани-Бей – и вот что они из всего этого сделали.

– Мне больше нравятся картины у нас дома, хоть они и стары». А это кто? Мама?

– Да.

- Старая картина?
- Старше тебя, Найджел.

Седрик отвернулся от портрета Анджелы. Как надоедал им тогда Джон с сеансами. Это ее отец настоял на том, чтобы они обратились к нему.

- Она закончена?
- Да. Правда, было очень трудно заставить художника закончить ее.
- А она вроде как и незаконченная, да, пава? Вся в кляксах.

Тут Грейнджер открыла дверь.

– Входи, Седрик! – крикнула Анджела из постели. Она была в темных очках. Косметика была раскидана по одеялу – она приводила в порядок лицо. Вот уж когда Найджелу впору было спросить, закончено ли оно: оно было все в кляксах, как портрет работы Джона.

- Я и не знал, что ты больна, – натянуто сказал Седрик.
- Ничего особенного, Найджел, ты не хочешь поцеловать маму?
- Зачем тебе эти очки?
- У меня устали глаза, милый.
- От чего устали?

– Седрик, – раздраженно сказала Анджела, – бога ради, не позволяй ему быть таким занудой. Пойди с мисс Грейнджер в соседнюю комнату, милый.

- Ладно, – сказал Найджел. – Не задерживайся долго, папа.
- Вы с ним теперь закадычные друзья, как я погляжу?
- Да. Это потому, что я в форме.
- Чудно, что ты опять в армии.
- Сегодня ночью я уезжаю. За границу.

– Во Францию?

– Нет как будто. Я не имею права говорить. Я потому и приехал.

– Приехал не говорить о том, что не уезжаешь во Францию? – сказала Анджела, дразнясь, как бывало.

Седрик начал говорить о доме; он надеется, что Анджела сохранит его за собой, если с ним что-нибудь случится; ему кажется, он заметил в мальчике проблески вкуса; быть может, когда мальчик вырастет, он оценит все это. Анджела слушала невнимательно и отвечала рассеянно.

- Я, кажется, утомляю тебя.

– Я сегодня не особенно хорошо себя чувствую. У тебя какое-нибудь конкретное дело ко мне?

– Нет, пожалуй. Просто зашел проститься.

– Папа, – донесся голос из соседней комнаты, – ты идешь?

– О господи, если б только я могла тут что-нибудь поделать. Я чувствую, я должна что-то сделать. И именно сейчас, правда? Я не хочу быть свиньей, Седрик, честное слово. Очень мило с твоей стороны, что ты зашел. Если б только я была в состоянии что-то сделать.

– Папа, пойдем. Нам еще надо к «Бэссет-Локу» до завтрака.

– Береги себя, – сказала Анджела.

– Зачем?

– Ну, не знаю. И чего это вы все задаете вопросы? Так закончился этот визит. У «Бэссет-Лока» Найджел выбрал модель бомбардировщика «бленгейм».

– Ребята прямо лопнут от зависти, – сказал он. После завтрака они пошли смотреть «У льва есть крылья», а там уж нора было сажать Найджела в поезд, отправлять его обратно в школу.

– Это было колоссально, папа, – сказал он.

– Правда?

– Два самых колоссальных дня, у меня таких еще не было.

И вот после этих двух колоссальных дней Седрик сидел в полутемном купе; пятно света падало на книгу у него на коленях, которую он не читал. Он возвращался в полк.

Безил зашел в «Кафе-Ройял» продолжать слежку за «женщиной, именующей себя Грин». Она сидела в окружении своих дружков и встретила его прохладным радушием.

– Так ты, значит, теперь в армии, – сказала она.

– Нет, только в рядах великой бюрократии в форме. Как поживают твои леваки?

– Спасибо, очень хорошо. Смотрят, как твои империалисты увязают в твоей войне.

– Много было встреч с коммунистами за последнее время?

– А тебе-то что?

– Так просто.

– Ты разговариваешь, как шпик.

– Меньше всего хочу производить такое впечатление. – И, поспешно переменяв тему: – Видалась последнее время с Эмброузом?

– Вон он там напротив, фашист паршивый.

Безил посмотрел в указанном направлении и увидел Эмброуза. Тот сидел за столиком на галерее в противоположном конце зала, у самого ограждения. С ним был какой-то маленький человечек неприметной наружности.

– Ты сказала «фашист»?

– А ты разве не знаешь? Он устроился в министерство информации и со следующего месяца издает фашистскую газету.

– Это очень интересно, – сказал Безил. – Расскажи-ка поподробней.

Эмброуз сидел прямой и уравновешенный, держа в одной руке ножку рюмки, а другую картинно уложив на балюстраду. В одежде его не было ничего, что обращало бы на себя внимание. На нем был гладкий темный костюм, быть может чуточку зауженный в талии и запястьях: кремовая рубашка из простого шелка и темный, в белую крапинку галстук-бабочка. Гладкие черные волосы не были чрезмерно отпущены (он стригся у того же парикмахера, что Питер и Аластэр), а на бледном семитском лице не замечалось признаков особого ухода, хотя Бентли всегда чувствовал себя неловко, когда бывал с ним на людях. Сидя так за столом и разговаривая, жестикулируя слегка и встряхивая слегка головой, поднимая время от времени голос, чтобы вдруг подчеркнуть какой-нибудь необычный эпитет или осколок жаргона, вклиненный в его литературно отточенную речь, пересыпая свои фразы смешочками, когда какая-нибудь мысль, обретая словесное воплощение, вдруг производила комический эффект, – Эмброуз в этой своей ипостаси обращал поток времени вспять, к еще более давней поре, чем молодость его и Бентли, – поре, когда среди декораций из красного плюша и золоченых кариатид, – декораций куда более великолепных – юные неопиты fin-de-siecle^[40] теснились у столиков Оскара и Обри.

Бентли оглаживал редкие седые волосы, нервно теребил галстук и с беспокойством оглядывался вокруг не наблюдая да за ним.

«Кафе-Ройял», возможно, в силу отдаленных ассоциаций с Оскаром и Обри было одним из мест, где Эмброуз чистил перышки,

расправлял крылья и мот воспарять. Манию преследования он оставлял внизу, вместе со шляпой и зонтиком. Он бросал вызов вселенной.

– Закат Англии, мой дорогой Джеффри, – толковал он, – начался в тот день, когда мы перестали топить углем. Нет, я говорю не о бедствующих районах, а о бедствующих душах, мой дорогой. Мы привыкли жить в туманах, великолепных, светозарных, ржавых туманах нашего раннего детства. Это было золотое дыхание Золотого Века. Вы только подумайте, Джеффри, сейчас есть дети, уже взрослеющие дети, которые никогда не видели лондонского тумана. Мы построили город, который по замыслу должен смотреться в тумане. У нас был туманный уклад жизни и богатая, смутная, задыхающаяся литература. Всего-навсего от тумана, мой дорогой, тумана в голосовых связках столь великолепно перхала английская лирическая поэзия. И только из тумана мы могли править миром. Мы были Гласом, подобно Гласу с Синая, улыбающимся сквозь облака. Первобытные народы всегда выбирают себе бога, который говорит из облака. А затем, мой дорогой Джеффри, – продолжал Эмброуз, помавая обвиняющим перстом и вонзая в Бентли черный обвиняющий глаз, словно бедняга издатель был лично во всем виноват, – затем какой-то хлопотун изобретает электричество, или нефть, или не знаю, что там еще. И вот туман поднимается, и мир видит нас такими, какие мы есть, и, что еще хуже, мы сами себя видим такими, какие мы есть. Это как на маскараде, мой дорогой: в полночь гости снимают маски, и оказывается, что на бале одни мошенники да самозванцы и была. Представляете себе хай, мой дорогой?

Эмброуз лихо осушил рюмку, высокомерно обозрел кафе и увидел Безила, прокладывающего к ним путь. – Мы говорим о туманах, – сказал Бентли.

– Они насквозь прогнили от коммунизма, – сказал Безил, пробуя свои силы в роли агента-provokatora. – Нельзя остановить гниение, длившееся двадцать лет подряд, посадив в тюрьму горстку депутатов. Чуть ли не половина мыслящих людей Франции обратили взоры на Германию, видя в ней истинного союзника.

– Прошу вас, Безил, не надо политики. Не о гурманах, не о французах мы говорили, а о туманах.

– А, о туманах.

И Безил пустился рассказывать о своем приключении в тумане: он плыл на яле вокруг Медвежьего острова... но Эмброуз был настроен сегодня на возвышенный лад и не желал, чтобы случайные страницы из сочинений Конрада засоряли высоты его красноречия.

– Мы должны вернуться к настоящему, – пророчески сказал он.

– О господи, – сказал Бентли. – Ну так что же?

– Каждый глядит либо в будущее, либо в прошедшее. Люди уважительные и с хорошим вкусом, вот вроде вас, мой дорогой Джефри, обращают свои взоры в прошлое, к веку Августа. Что касается нас, то мы должны принимать Настоящее.

– А ведь правда, вы могли бы сказать, что Гитлер принадлежит настоящему? – гнул свое Безил.

– Я считаю, что ему место на страницах «Панча»^[41], – ответил Эмброуз.

– В глазах китайского ученого древности военный герой был самым низшим представителем человеческой породы, объектом непристойных насмешек. Мы должны вернуться к древней китайской учености.

– Мне кажется, у них ужасно трудный язык, – сказал Бентли.

– Знал я одного китаезу в Вальпараисо... – завел свое Безил, но Эмброуз уже мчался во весь опор.

– Европейская ученость никогда не утрачивала монастырского характера, – толковал он. – Китайская ученость ставит во главу угла хороший вкус, мудрость, а не регистрацию фактов. В Китае человек, который у нас стал бы членом совета колледжа, проходил императорские экзамены и становился бюрократом. Их ученые были одинокие люди, они оставляли немного книг, еще меньше учеников и довольствовались единственной наложницей и видом сосны у ручья. Европейская культура стала слишком общедоступной. Мы должны сделать ее келейной.

– Как-то раз я познакомился с отшельником в Огаденской пустыне...

– В Китай вторгались иноземные захватчики. Империя распалась на воюющие царства. Ученые невозмутимо жили скромной, идиллической жизнью, время от времени писали на листьях растений изысканную шутку чисто интимного свойства и пускали ее вниз по ручью.

– Я много читал китайских поэтов, – сказал Бентли, – в переводах, конечно. Это прелестно. Я зачитывался книгой о мудреце, который, как вы выразились, жил скромно и идиллически. У него был домик, садик и вид. Каждый цветок соответствовал определенному настроению и времени года. Он нюхал жасмин, приходя в себя от зубной боли, и лотос, когда пил чай с монахом. У него была поляна, на которой в полнолуние не было теней, там его наложница сидела и пела ему песни, когда он хмелел. Каждый уголок его садика соответствовал определенному настроению самого нежного и утонченного свойства. Это было упоительное чтение.

– О да.

– У того мудреца не было ручной собачки, зато у него были кошка и мать. Каждое утро он на коленях приветствовал мать, а зимой каждый вечер подкладывал ей под тюфяк жаровню с углем и сам задергивал полог кровати. Вот, казалось бы, в высшей степени изысканное существование.

– О да.

– Ну, а потом, – продолжал Бентли, – я подобрал в железнодорожном вагоне номер «Дейли миррор» и прочел в нем статью Годфри Уинна о его домике, его цветах и его настроениях, и, хоть убей, Эмброуз, я не мог усмотреть ни малейшей разницы между этим молодым джентльменом и Юань Цэ-дзуном.

Это был жестокий удар, но в оправдание Бентли можно сказать, что он слушал Эмброуза битых три часа и теперь, когда к ним подсел Безил, хотел одного – идти спать.

Как только Эмброуза перебили, он сразу увял, и Безил получил возможность вставить:

– А когда в империю вторгались захватчики, Эмброуз, эти ваши ученые – им что, было все равно?

– Решительно все равно, мой дорогой, – они на это клали с прибором.

– А вы, стало быть, хотите выпускать газету, в которой будет поощряться такого рода ученость?

И Безил, откинувшись на спинку стула, заказал себе выпить, совсем как адвокат в кинофильме, когда делает передышку и с ликованием произносит: «Ну, теперь ваши свидетели, господин прокурор».

Пройдя четыре часа в темноте, Седрик достиг порта погрузки. В нескольких зданиях вдоль набережной тускло светились огоньки, но сам причал и корабль были нацело скрыты во тьме. Лишь верхний рангоут и такелаж еще более темной массой проступали на темном небе. Офицер штаба, ответственный за посадку, велел Седрику оставить вещи на причале. Их погрузкой займется специальная рабочая команда. Он оставил саквояж и лишь с небольшим ручным чемоданом взошел на борт. Наверху невидимая фигура указала ему, как пройти к каютам первого класса. Он нашел своего командира в кают-компании.

– Привет, Лин. Уже вернулись? Очень хорошо. Билли Олгуд сломал в отпуске ключицу и с нами не едет. Займитесь-ка вы погрузкой, а? Работы до черта. Часть солдат Хайлендского полка легкой пехоты дуриком вперлась на наш корабль и заняла всю транспортную палубу. Вы обедали?

– Ел устрицы в Лондоне перед отъездом.

– И очень умно сделали. Я пробовал организовать что-нибудь горячее. Предупреждал, что мы все приедем голодными, но здесь продолжают работать по распорядку мирного времени.

Вот все, что мне удалось добыть.

И он указал на большой серебряный поднос, где лежал на салфетках десяток ломтиков поджаренного хлеба с сардинами, стружками сыра и застекленевшими кусочками языка. Такой поднос тут всегда подавали в кают-компанию в десять часов вечера.

– Придите ко мне, как отыщете свою каюту. Седрик нашел ее. Она была в идеальном порядке: три полотенца, все разных размеров, фотография какого-то усача, самым примерным образом надевающего спасательный жилет. Седрик оставил в каюте чемоданчик и вернулся к командиру.

– Через полтора часа наши люди начнут грузиться. Ума не приложу, какого черта торчат тут эти хайлендцы. Выясните и очистите от них судно.

– Слушаюсь, полковник.

Он нырнул обратно в темноту и разыскал офицера, ответственного за погрузку. При свете карманного фонарика они просмотрели приказ на посадку. Сомнений быть не могло: хайлендцы

забрались не на свой корабль. Этот назывался «Герцогиня Камберлендская», а им следовало быть на «Герцогине Кларенса».

– Но «Кларенса» тут нет, – сказал ответственный за посадку офицер. – Очень возможно, их кто-то направил сюда.

– Кто именно?

– Не я, старина, – ответил офицер.

Поднявшись на борт, Седрик пустился на розыски командира хайлендцев и в конце концов нашел его в каюте спящим в полной боевой форме.

– Вот мой приказ, – сказал полковник хайлендцев, доставая из бокового кармана пачку машинописных страниц, изрядно излохмаченных и замусоленных от постоянного перелистывания. – «Герцогиня Камберлендская». Погрузиться в двадцать три ноль-ноль со всем имуществом по форме 1097. Все совершенно ясно.

– Да, но через час наши люди поднимутся на борт.

– Ничем не могу вам помочь. Таков мой приказ. Полковник не был склонен вдаваться в объяснения с младшим офицером. Седрик сходил за своим командиром. Вдвоем полковники внесли в дело полную ясность и решили освободить кормовую транспортную палубу. Седрику поручили разбудить дежурного офицера хайлендцев. Он нашел дежурного сержанта. Они пошли вдвоем на корму.

По потолку тянулись ряды тусклых огоньков – электрические лампочки, совсем недавно замазанные синей краской и еще не оттертые начисто солдатами. На палубе лежали груды вещевых мешков и боевой техники: ящики с пулеметами Брена, боеприпасы и огромные гробовидные короба с противотанковыми ружьями.

– А не сложить ли их в кладовую стрелкового оружия? – спросил Седрик.

– Ну, разве что хотите, чтобы их сперли.

Между штабелями военного имущества, прикорнув под одеялами, лежало с полбатальона солдат. В эту первую ночь лишь очень немногие навесили койки. Койки валялись среди прочего снаряжения, усугубляя беспорядок.

– Нам ни за что не поднять их сегодня.

– Попытаемся, – сказал Седрик.

Очень медленно инертную людскую массу удалось раскатать. Заунывно ругаясь, солдаты начали собирать личное снаряжение.

Рабочие команды принялись перетаскивать имущество. Им приходилось подниматься по трапам на верхнюю палубу, проходить в темноте на нос и через носовые люки опускаться вниз.

Немного погодя голос наверху у трапа спросил:

– Лин тут?

– Так точно.

– Мне приказано разместить роту на этой палубе.

– Вам придется подождать.

– Рота уже поднимается на борт.

– Ради бога, задержите людей.

– А разве это не палуба «Д»?

– Так точно.

– Ну так нам сюда и надо. Какого черта толкутся тут эти люди?

Седрик поднялся наверх, к входу с трапа на палубу. Тяжело нагруженные солдаты его полка сплошным потоком всходили по трапу.

– Назад, – приказал Седрик.

– Это еще что за черт? – спросил голос из темноты.

– Это Лин. Заверните своих людей на причал. Вам еще нельзя грузиться.

– Как же так? Половина наших людей с обеда ничего не ела, можете вы это понять?

– Они и тут не найдут ничего до завтрака.

– Вот так хреновина! Офицер по железнодорожным перевозкам на Юстонском вокзале сказал, что свяжется по телеграфу с портом, и по прибытии нам будет обеспечена горячая пища. Где полковник?

Солдаты на трапе повернулись кругом и начали медленно спускаться. Когда последний, сойдя на причал, растворился во тьме, на борт поднялся командир.

– Ну и заварили вы кашу, – сказал он. На палубе было полно солдат чужого полка, перетаскивающих военное имущество.

– Эй, кто там курит? – крикнул сверху корабельный офицер. – Погасить сигарету!

На набережной одна за другой начали вспыхивать спички.

– Эй, вы там, погасить сигареты!

– Целый день ехали в этом... поезде, ...его в душу, и не дадут пожрать, ...их в душу. Про... на причале, ...его в душу, и теперь этот

хмырь и сигареты не даст выкурить, ...его в душу. Вы... над нами, мне это... ..их в душу.

Мимо Седрика прошла смутная фигура, приборматывая в отчаянии:

– Именные списки в трех экземплярах. Именные списки в трех экземплярах. Какого черта нам загодя не сказали, что именные списки нужны в трех экземплярах?

Подошла другая смутная фигура, в которой Седрик узнал офицера, ответственного за погрузку.

– Послушайте, перед посадкой люди должны снять с себя все снаряжение и оружие и уложить в водонепроницаемые мешки.

– О! – сказал Седрик.

– Они этого не сделали.

– О!

– Это же нарушение всех правил хранения!

– О!

Подбежал вестовой.

– Мистер Лин, вас вызывает командир части. Седрик отправился к нему.

– Слушайте, Лин, почему эти проклятые шотландцы до сих пор не убрались с нашей транспортной палубы? Я приказал очистить палубу два часа назад. Я полагал, вы следите за этим.

– Прошу прощения, полковник. Они уже поднялись.

– Смею надеяться, черт побери. А еще вот что. Половина наших людей весь день ничего не ела. Пройдите к судовому эконому и выцарапайте для них что-нибудь. Узнайте также на мостике, когда выходим в море. Когда полк будет на борту, проследите за тем, чтобы каждый знал, где что размещено. Чтобы ничего не потерять. Уже на этой неделе мы, возможно, будем в деле. Говорят, эти хайлендцы потеряли по пути сюда кучу снаряжения. Не хватало только, чтобы они возместили недостачу за наш счет.

– Слушаюсь, сэр.

Когда он вышел на палубу, уже знакомая ему призрачная фигура снова промелькнула мимо, – приговаривая отчаянным голосом, в котором слышался отзвук иного, отнюдь не лучшего мира:

– Именные списки в трех экземплярах. Именные списки в трех экземплярах.

В семь часов утра полковник сказал:

– Бога ради, смените кто-нибудь Лина. Он не работает, а в потолок плюет.

Седрик пришел в свою каюту; он невозможно устал. Все события и впечатления последних двух суток растворились в одном-единственном желании – спать. Он снял с себя пояс и ботинки и бухнулся на койку. Через четверть минуты он провалился в небытие. Через пять минут его разбудил официант, поставивший у койки поднос с чаем, яблоком и тонким ломтиком черного хлеба с маслом. Так всегда начинался день на судне, шло ли оно к полуночному солнцу или к Вест-Индским островам. Час спустя другой официант прошел мимо, ударяя маленьким молоточком в мелодичный гонг. Это была вторая фаза дня на судне. Приятно позванивая, официант прошел через каюты первого класса, деликатно лавируя между большими чемоданами и вещевыми мешками. Небритые, угрюмые, не спавшие всю ночь офицеры смотрели на него набычившись. Девять месяцев назад судно плавало в Средиземном море, и сотня образованных старых дев радовалась его музыке. Официанту было все равно.

После завтрака полковник собрал офицеров в курительном салоне.

– Мы должны полностью выгрузиться с судна, – сказал он. – Посадку следует провести в соответствии с требованиями устава. К тому же мы все равно не выйдем в море до вечера. Я только что от капитана, он сказал, что еще не загрузился топливом. Далее, мы перегружены, и он настаивает на том, чтобы оставить на берегу двести человек. Далее, сегодня утром на судно погружается полевой госпиталь, надо найти ему место. Надо также пристроить полицейскую часть полевой службы безопасности, службу полевых войск, военно-торговую службу ВМС, ВВС и сухопутных войск, двух офицеров казначейской службы, четырех священников, военно-ветеринарного врача, фотокорреспондента, морскую высадочную команду, Несколько зенитчиков морской пехоты, подразделение обеспечения связи взаимодействия с авиацией поддержки – уж не знаю, что это такое, – и отряд саперов. Всякая связь с берегом прекращается. Дежурная рота выставит часовых у почты и телефонных будок на набережной. Это все, господа. Все сказали:

– Лин сделал из погрузки черт знает что.

Когда Бентли в первом приступе патриотического ража бросил издавать книги и пошел служить в министерство информации, он договорился со своим старшим партнером, что его комната останется за ним и он, когда сможет, будет заходить и проверять, как соблюдаются его интересы. Мистер Рэмпоул, старший партнер, согласился один вести текущие издательские дела.

Фирма «Рэмпоул и Бентли» была невелика и чрезмерными барышами компаньонов не баловала. Своим существованием она была обязана главным образом тому, что у обоих были другие, более солидные источники дохода. Бентли выбрал издательское поприще потому, что сызмала питал слабость к книгам. На его взгляд, это была Стоящая Вещь, чем их больше, тем лучше. Более близкое знакомство с авторами не умножило его любви к ним; он считал, что все они жадные, эгоистичные, завистливые и неблагодарные, но не расставался с надеждой, что в один прекрасный день кто-нибудь из этих малосимпатичных людей окажется гением, истинным мессией. А еще ему нравились книги сами по себе; нравилось созерцать в витрине издательства десятков ярких обложек, подаваемых как новость сезона; нравилось чувство соавторства, которое они в нем будили. Со старым Рэмпоулом все было иначе. Бентли часто спрашивал себя, почему его старший партнер вообще взялся издавать книги и почему, разочаровавшись, не бросил этого занятия. Рэмпоул считал предосудительным плодить книги. «Не пойдет, – говорил он всякий раз, как Бентли открывал нового автора. – Никто не читает первых романов молодого писателя».

Раз или два в год Рэмпоул сам открывал нового автора, причем всегда давал небезосновательный прогноз его неминуемого провала. «Влип в жуткую историю, – говаривал он. – Встретил в клубе старого имярек. Схватил меня за грудки. Старик служил в Малайе и только что вышел на пенсию. Написал мемуары. Придется издать. Выхода нет. Одно утешенье, что второй книги он никогда не напишет».

Это было его важное преимущество перед Бентли, и он любил им похвалиться. В отличие от юных друзей Бентли его авторы никогда не требовали добавки.

Замысел «Башни из слоновой кости» глубоко претил старому Рэмпоулу. «Отродясь не слышал, чтобы литературный журнал имел успех», – говаривал он.

Однако старый Рэмпоул помимо воли питал некоторое уважение к Эмброузу, ибо тот был одним из немногих авторов, бесспорно полезных для кармана. Другие авторы неизбежно вызывали споры, и Бентли приходилось пускаться в хитроумные объяснения относительно авансов, накладных расходов и наличного капитала, чтобы выдать за успех явный провал. А книги Эмброуза расходились пятнадцатитысячными тиражами. Рэмпоул не любил его, но признавал за ним известную бойкость пера. Его поразило, что Эмброуз оказался настолько слеп к собственным интересам, чтобы затеять подобное издание.

– У него что, есть деньги? – спросил Эмброуз у Бентли в разговоре с глазу на глаз.

– Если и есть, то очень немного.

– О чем же он тогда думает? Что ему надо?

Эмброузу он сказал:

– Литературный журнал? В такое неподходящее время?

– Время как раз самое подходящее, – ответил Эмброуз. – Неужели вы не понимаете?

– Нет, не понимаю. Издержки высоки и лезут все выше. Бумаги не достать. Да и кто станет читать ваш журнал? Ведь это же не женский журнал. И не мужской, насколько я понимаю. И не тематический. Кто станет давать в нем объявления?

– А я и не думал об объявлениях. Я думал о том, чтобы сделать его чем-то вроде прежней «Желтой книги».

– Ну так ведь она и прогорела, в конце концов! – ликующе сказал Рэмпоул и дал согласие.

В конечном счете он всегда давал согласие, что бы ни затевал Бентли. В этом состоял секрет их долголетнего партнерства. Он заявил свой протест и снимает с себя всякую ответственность. Это все Бентли наколбасил. Ему часто случалось противиться проектам Бентли по привычке, из общего соображения, что печатание каких бы то ни было книг нежелательно. В случае же «Башни из слоновой кости» он стоял на твердой почве, и он это знал. Ему доставит глубочайшее удовлетворение поймать своего партнера на таком ничем

не оправданном безрассудстве. Вот как случилось, что комната Бентли, самая живописная в красивом старинном здании, служившем им конторой, стала редакцией журнала Эмброуза.

Особой редакторской работы пока, на данной стадии, не требовалось.

– Я предвижу одно нарекание, – сказал Бентли, изучая гранки. – Весь номер составлен вами и только вами.

– Никто не догадается, – сказал Эмброуз. – Если хотите, выставим несколько псевдонимов.

Эмброуз всегда был специалистом по составлению манифестов. Он написал один в школе, двенадцать в университете, а однажды, в конце двадцатых годов, вместе со своими друзьями Хэтом и Мэлпрэктисом даже выпустил пригласительный билет в виде манифеста. И одной из многочисленных причин, почему он чурался коммунизма, было то, что его, коммунизма, манифест был раз и навсегда написан другим. Окруженный, как ему казалось, со всех сторон врагами, Эмброуз время от времени услаждал себя тем, что открыто бросал им вызов. Первый номер «Башни из слоновой кости» до известной степени шел вразрез с провозглашаемой в нем безмятежностью и отрешенностью, ибо Эмброуз поборол все ветряные мельницы без исключения.

В статье «Юные менестрели, или Башня из слоновой кости versus^[42] манхаттанского небоскреба» раз и навсегда определялась позиция Эмброуза в великой контроверзе на тему Парснип – Пимпернелл. В эссе «Отшельник, или хормейстер» Эмброуз пространно развивал тему, начатую им в «Кафе-Ройял». «Культура должна быть келейной, но не монастырской». Он ни за что ни про что раздавал сокрушительные удары тем, кто полагал, что литература имеет какую-либо общественную ценность. Дж. Б. Пристли удостоился на этих страницах личного оскорбления. Затем шла «Башня из бакелита» – бешеная атака на Дэвида Леннокса и всю школу модных художников-декораторов. Затем статья «Майоры и мандарины», где определялась точная мера презрения и отвращения, причитающаяся военным, причем к сонму военных Эмброуз поименно причислил всех государственных деятелей энергичного и воинственного склада.

– Все это очень спорно, – печально сказал Бентли. – Когда вы впервые поделились со мной своим замыслом, я так понял, что вы задумали чисто художественный журнал.

– Мы должны показать людям, на каких позициях мы стоим, – ответил Эмброуз – Искусство будет. К слову сказать, есть же у нас «Памятник спартанцу».

– Да, – сказал Бентли. – Это есть.

– На пятьдесят страниц. И все чистое искусство.

Он сказал это веселым тоном продавца, словно говорил: «И все чистый шелк». Сказал словно в шутку, но в глубине души он верил – и знал, что Бентли поймет его как надо, – что говорит сущую правду. Это действительно было чистое искусство.

Он написал эту вещицу два года назад, когда вернулся из Мюнхена, расставшись с Гансом. Это был рассказ о Гансе. Теперь, по прошествии двух лет, он не мог читать его без слез. Опубликовать его значило символически сложить с себя эмоциональное бремя, которое он нес слишком долго.

«В памятнике спартанцу» Ганс описывался таким, каким Эмброуз любил его, – во всех его настроениях. Ганс незрелый, провинциальный парнишка из мелких буржуа, барахтающийся и блуждающий в потемках своей тевтонской юности, проваливающий экзамены, усталый от жизни, помышляющий о самоубийстве в хвойном лесу, некритичный к непосредственному начальству, непримиренный с существующим миропорядком; Ганс ласковый, сентиментальный, грубо чувственный, греховный; прежде всего, Ганс греховный, снедаемый запретами первобытной чащи; Ганс доверчивый, бесхитростно и великодушно приемлющий всю галиматью нацистских вождей; Ганс, полный почтения к нелепым инструкторам, разглагольствующим в молодежных лагерях, возмущенный несправедливостью, которую терпит от человека человек, еврейскими заговорами, политикой окружения его страны кольцом враждебных государств, блокадой и разоружением; Ганс, любящий своих товарищей, ищущий в темном племенном инстинкте искупление греха личной любви; Ганс, поющий со своими камрадами по «Гитлерюгенду», валящий с ними деревья, прокладывающий дороги, все еще любящий своего старого друга, озадаченный тем, что старая любовь никак не втискивается в схему новой; Ганс

взрослеющий, облекшийся в доспехи зловещего рыцарства, погрузившийся в тот дурманящий полумрак, где демагоги и наемники партии предстают в блеске вагнеровских героев; Ганс, верный старому другу, подобный сыну дровосека в сказке, который видит лес, населенный великанами из иного мира, и, протерев глаза, возвращается вечером в родную хижину, к родному очагу. Вагнерианцы блистали в изложении Эмброуза так, как они блистали в глазах Ганса. Он сурово изгонял со своих страниц малейшие намеки на сатиру. Боевитые, сумасбродные, тупоголовые партийцы – все были герои и философы. Все это Эмброуз запечатлял исключительно тонко и точно в ту пору, когда сердце его пожирал огонь трагического финала. Камрады Ганса по СС дознаются, что его друг – еврей; он возмущал их и раньше, потому что их грубый ум говорил им, что он олицетворяет собой индивидуальное, личное начало в мире, где право на жизнь дано лишь толпе и охотящейся стае. И вот толпа и охотящаяся стая наваливаются на дружбу Ганса. С милосердием, о котором сами и не подозревают, они избавляют Ганса от осознания конечного смысла его открытия. Для него лично это открытие означало бы трагический перелом всей его запоздалой юности – открытие, что его собственное, личное убеждение вступило в конфликт с фальшивыми убеждениями, вдолбленными в него жуликами и надувалами, которых он взял в руководители. Но нет, охотящаяся стая и толпа не дают Гансу времени придумать для себя свое собственное суровое наказание; по крайней мере, от этого он избавлен скорой и свирепой расправой; это досталось в удел Эмброузу, вернувшемуся поездом в Англию.

Такова была эта история, которую популярный писатель растянул бы на сто пятьдесят тысяч слов. Эмброуз ничего не упустил; все было тут, все тонко и точно уложилось на пятидесяти страницах.

– Честное слово, Джеффри, я считаю это крупным произведением искусства.

– Да, Эмброуз, я это знаю. Я тоже так считаю. Мне бы только хотелось выбросить спорный материал.

– Не спорный, Джеффри. Мы рассчитываем не на спор, а на одобрение. Мы предъявляем наши верительные грамоты и *laissezpasser*^[43].

– Рэмпоулу это не понравится, – сказал Бентли.

– А мы не покажем это Рэмпоулу, – сказал Эмброуз.

– Я напал на одно хорошенькое дельце, полковник.

– Будьте любезны говорить мне «сэр» у меня в отделе.

– А может, вам больше понравится «шеф»?

– Вы будете говорить мне «сэр» или скинете форму.

– Чудно, – сказал Безил. – Мне куда больше нравится «шеф». Вот ведь и Сюзи зовет меня так. Ну ладно, сэр, могу я рассказать вам о своем открытии?

Когда Безил кончил, полковник Плам сказал:

– Возможно, в этом что-то есть. Разумеется, мы не можем ничего предпринять. Этот Силк известный писатель, работает в министерстве информации.

– Это очень опасный тип. Я хорошо его знаю. До войны он жил в Мюнхене – не вылезал из Коричневого дома.

– Очень может быть, но мы не в Испании и не можем арестовывать людей за то, что они говорят за столиком в кафе. Я не сомневаюсь, что в конечном счете мы к этому придем, но на нынешней стадии борьбы за свободу это просто невозможно.

– А как насчет его журнала?

– Журнал – другая статья. Однако «Рэмпоул и Бентли» вполне уважаемая фирма. Я не могу просить ордер на обыск без достаточных оснований. У нас довольно широкие полномочия, но мы должны пользоваться ими с крайней осторожностью. Будем следить за журналом и, если он окажется опасным, закроем его. Ну, а тем часом займитесь делом. Вот анонимный донос на адмирала в отставке, проживающего в Южном Кенсингтоне. Ерунда, наверное. Узнайте в полиции, что им о нем известно.

– А мы не обследуем ночные клубы? Я уверен, что они кишат вражескими агентами.

– Я обследую, вы – нет, – сказала Сюзи.

Тихий день в министерстве информации. Корреспонденты нейтральных государств, кто познергичнее, почти все повыехали из Англии, полагая, что источники стран оси дают больше возможностей для охотников за сенсациями. Министерство могло без помех продолжать свою работу. В тот день в кинозале министерства

показывали фильм об охоте на выдр, призванный глубоко впечатлить нейтральные страны пасторальными красотами английской жизни. Все сотрудники отдела религии были заядлыми любителями кино. Безил никого не застал на месте. На столе Эмброуза лежали два экземпляра гранок нового журнала. Безил сунул в карман один. Тут же лежал чей-то паспорт. Безил взял его в руки и с интересом стал разглядывать: ирландский ему еще не приходилось видеть. Он был выдан некоему отцу Фланагану, члену общества Иисуса, профессору Дублинского университета. С фотокарточки на Безила глядело лицо трупа неопределенного возраста. На досуге от своих просветительских трудов отец Фланаган пописывал статейки для ирландской газеты. На каникулах он возымел желание прокатиться на линию Мажино и после многочисленных разочарований попал в отдел религии министерства информации, заведующий которым, сам католик, обещал похлопотать о визе. Безил прихватил и паспорт – лишней не помешает. Затем легким шагом вышел из комнаты.

Он взял гранки домой и читал их до обеда, отмечая абзац тут, абзац там для своего донесения. Стиль всех статей был однороден, но имена авторов многообразны. Тут Эмброуз явно отводил душу: «Гекльбери Пасквилл», «Почечуй-Трава», «Том Абрахам Уиперли-Кости». Только «Памятник спартанцу» был подписан его именем. Поздно вечером Безил нашел Эмброуза там, где и рассчитывал его найти, – в «Кафе-Ройял».

– Читал ваш журнал, – сказал он.

– Так это вы! Я-то думал, гранки украл один из этих гнусных иезуитов, они у нас в отделе постоянно. Как галки, то влетают, то вылетают, Бентли очень встревожился. Он не хочет, чтобы Рэмпоул увидел журнал до выхода в свет.

– С чего бы иезуиты стали показывать его Рэмпоулу?

– С них станет. Ну как?

– Что ж, – сказал Безил. – На мой взгляд, вы бы могли нажать еще чуток. Вы ведь знаете, что вам надо: вам надо чуток ошарашить публику. Только так можно дать ход новому журналу. Ну и, конечно, нынче не ошарашить публику сексом – нет, я не это хочу сказать. Но, положим, напечатать небольшое стихотвореньице во хвалу Гиммлеру – что-нибудь эдакое, а?

– Меня эта идея что-то не вдохновляет. Да и, насколько мне известно, никто еще не написал такого стихотворения.

– Ну, такую-то штуку я, пожалуй, мог бы вам раскопать.

– Нет, – сказал Эмброуз. – А что вы думаете о «Памятнике спартанцу»?

– Первая часть просто блеск. Ну, а конец, я полагаю, это они вам навязали.

– Кто они?

– Ну, министерство информации.

– Оно не имеет к журналу никакого отношения.

– Правда? Ну, вам, конечно, лучше знать. Я могу лишь говорить о том, как это читается. Вот первостатейное произведение искусства, думал я, а потом вдруг раз – пошло все хуже и хуже, и вот уж передо мной чистая пропаганда. Слов нет, очень неплохая пропаганда, дай бог вашему министерству хотя бы половину своей продукции выпускать на таком уровне, но все же пропаганда. Рассказ со зверствами, американские газетчики выдают такого чтива – лопатой огребай. Тут вы малость перехватили, Эмброуз. Разумеется, сейчас война, всем нам приходится приносить жертвы. Не думайте, что после этого я перестал вас уважать. Но с художественной точки зрения, Эмброуз, это скандально.

– Неужели? – ужаснулся Эмброуз. – У вас действительно сложилось такое впечатление?

– Шибает в глаз, старичок. Но, уж конечно, это поднимет ваши акции там, в отделе.

– Безил, – торжественно сказал Эмброуз. – Если б я знал, что рассказ читается в таком ключе, я бы выбросил всю эту штуку в корзину.

– О нет, зачем же. Первые сорок пять страниц великолепны. Почему бы вам не поставить на этом точку: Ганс, все еще полный иллюзий, двигает маршем в Польшу?

– Пожалуй...

– А еще можно ввести Гимmlера, в самом конце, неким апофеозом нацизма.

– Нет.

– Ну ладно, Гимmlера не обязательно. Просто оставьте Ганса в первом упоении победой.

– Я подумаю... Вы серьезно полагаете, что интеллигентным читателям может прийти в голову, будто я писал пропагандистскую вещь?

– Им не может прийти в голову ничего другого, старичок, как же иначе?

Неделю спустя, зайдя в фирму «Рэмпоул и Бентли» и испросив себе экземпляр – так просто все было, – Безил получил на руки сигнальный номер нового журнала. С жадным любопытством открыл он последнюю страницу: «Памятник спартанцу» кончался именно так, как он предлагал. Он с наслаждением перечел рассказ: любой, не посвященный в личную драму Эмброуза, ясно и недвусмысленно увидел бы в рассказе одно – победную песнь «Гитлерюгенду», под которой мог бы подписаться сам доктор Лей.

Безил прихватил журнал с собой в военное министерство. Прежде чем войти к полковнику Пламу, он отметил красным мелком «Памятник спартанцу» и те абзацы в предшествующих рассказу статьях, в которых с особенным тщанием высмеивались армия и военный кабинет, а художнику предписывалось не противиться насилию. Затем выложил журнал на стол полковнику Пламу.

– Мне помнится, сэр, вы обещали сделать меня капитаном морской пехоты, если я поймаю фашиста.

– Это было фигуральное выражение.

– И как же его следует понимать?

– Что вам надо что-то сделать, чтобы оправдать ваше присутствие в моем кабинете. Что там у вас?

– Документик. Прямо из гнезда «пятой колонны».

– Ну, оставьте это у меня. Я посмотрю, как только выберу время.

Не в обычае полковника Плама было проявлять энтузиазм при подчиненных, однако, как только Безил вышел, он с пристальным вниманием принялся читать отмеченные абзацы. Вскоре он призвал Безила к себе.

– Пожалуй, вы действительно что-то раскопали, – сказал он. – Я забираю это с собой в Скотленд-Ярд. Кто все эти люди – Пасквилл, Почечуй и Абрахам-Уиперли-Кости?

– Вам не кажется, что это псевдонимы?

– Чепуха. Когда человек берет вымышленное имя, он подписывается Смит или Браун.

– Быть по-вашему, сэр. Мне очень интересно увидеть их на скамье подсудимых.

– Скамьи подсудимых не будет. Мы возьмем эту шайку по особому ордеру.

– Я пойду с вами в Скотленд-Ярд?

– Нет.

– За это я не познакомлю его с Абрахам-Уиперли-Кости, – сказал Безил, когда полковник Плам ушел.

– Неужели мы правда поймали субчиков из «пятой колонны»? – спросила Сюзи.

– Не знаю, кто это «мы». Я поймал.

– Их расстреляют?

– Ну, не всех.

– Какой позор, – сказала Сюзи. – Остается только надеяться, что все они слегка того.

За удовольствием, с каким он расставлял ловушку, Безил не предусмотрел последствий своего шага. Два часа спустя, когда полковник Плам вернулся в отдел, события полностью вышли из-под контроля Безила.

– Они там, в Скотленд-Ярде, пляшут от радости, – сказал полковник Плам.

– Превозносят нас до небес. Все уже тщательно подготовлено. Нам выписан особый ордер на арест авторов, издателей и типографов, но, по-моему, типографов-то не стоит особенно ворошить. Завтра утром Силк будет арестован в министерстве информации. Одновременно будет окружена и занята фирма «Рэмпоул и Бентли», изъят весь тираж журнала и вся корреспонденция. Все сотрудники фирмы будут задержаны и назначено расследование. Что нам сейчас нужно – это описание Почечуя, Гекльбери и Абрахам-Уиперли-Кости. Этим вы и займетесь. А мне пора к министру внутренних дел.

Многое в этой речи не понравилось Безилу с самого начала, и еще больше – когда он пораскинул мозгами что и как.

Во-первых, выходило так, что вся честь и слава доставались полковнику Пламу, а ведь это он сам, Безил, – так ему казалось, – должен бы пойти к министру внутренних дел; он сам должен бы планировать в Скотленд-Ярде завтрашнюю облаву; его самого должны

бы перевозносить до небес, как выразился полковник Плам. Нет, не для того он замышлял измену старому другу. Полковник Плам явно зарвался.

Во-вторых, сознание того, что он стал на сторону закона, было Безилу в новинку и ничуть не приятно. В прошлом полицейские облавы всегда означали для него бегство через крышу или полуподвал, и ему делалось просто стыдно, когда о полицейской облаве говорили запросто и чуть ли не с теплотой.

В-третьих, не сильно веселила его мысль о том, что скажет Эмброуз. Если даже он будет лишен права открытого суда, то ведь все-таки должно же быть какое-то расследование, и ему представится возможность дать объяснения. Его, Безила, долю участия в редактировании «Памятника спартанцу» лучше бы прихоронить, как забавный анекдот, который можно рассказать в подходящей компании в подходящее время, но уж никак не делать предметом официального полузаконного разбирательства.

И наконец, в-четвертых, в силу давних приятельских отношений Безил питал понятную симпатию к Эмброузу. При прочих равных условиях он желал ему скорее добра, чем зла.

Такие вот соображения, и именно в такой последовательности, соответственно степени важности, занимали ум Безила.

Квартира Эмброуза находилась по соседству с министерством информации, на верхнем этаже большого, каких много в Блумсбери, особняка, мраморные лестницы которого были заменены деревянными. Эмброуз поднимался по ним в помещения, служившие раньше спальнями прислуге. Это был чердак, он так и назывался чердаком и в качестве такового удовлетворял аскетическим позовам, обуявшим Эмброуза в год великого кризиса. Однако во всем прочем квартира не давала повода говорить о лишениях: Эмброуз не был обделен свойственным его расе вкусом к комфорту и на зависть хорошим вещам. Дорогие европейские издания трудов по архитектуре, глубокие кресла, скульптурное изделие в виде страусового яйца работы Бранкуши, граммофон с громадным раструбом и собрание пластинок – благодаря этим и бесчисленному множеству других приметных мелочей комната, в которой он жил, была особенно дорога его сердцу. Правда, в ванной у него была только

газовая колонка, которая в лучшем случае давала скудную струйку тепловатой воды, а в худшем бурно извергала облака ядовитых паров, но ведь аппарат подобного рода – вообще пробирное клеймо интеллектуалов высшего разбора во всем мире. Зато спальня Эмброуза с лихвой искупала опасности и неудобства ванной. Прислуживала ему в этой квартире добродушная старушка кокни, время от времени поддразнивавшая его, что он не женится.

В эту-то квартиру и пришел Безил в тот день поздно ночью. Он отложил свой приход по чисто художественным соображениям. Пусть полковник Плам лишил его бурных радостей Скотленд-Ярда и министерства внутренних дел, но уж тут-то его ждет театр по всей форме. Безилу пришлось долго стучать и звонить, прежде чем его услышали. Эмброуз вышел к дверям в халате.

– О господи, – сказал он, – вы, должно быть, пьяны. Никто из друзей Безила, имевших постоянное место жительства в Лондоне, не был застрахован от его случайных ночных визитов.

– Впустите меня. Нельзя терять ни минуты. – Безил говорил шепотом. – Полиция может нагрять любую минуту.

Еще слегка оглушенный сном, Эмброуз впустил его. Есть люди, которым в слове «полиция» не мерещится ужасов. Эмброуз не принадлежал к их числу. Всю жизнь он был изгоем, и в его памяти еще свежо было воспоминание о тех днях, что он прожил в Мюнхене, когда друзья исчезали ночью, не оставив адреса.

– Вот вам это, это и это, – сказал Безил, подавая Эмброузу воротник, какой носят священники, черное священническое одеяние с двойным рядом агатовых пуговиц и ирландский паспорт. – Вы отец Фланагап, возвращаетесь в Дублинский университет. В Ирландии вы будете в безопасности.

– Но ведь сейчас, наверно, нет ни одного поезда.

– Есть один, восьмичасовой. Нельзя, чтобы вас здесь застали. Лучше посидеть в зале ожидания на Юстонском вокзале, пока не подадут состав. У вас есть требник?

– Откуда!

– Тогда читайте ипподромные ведомости. Мне помнится, у вас был темный костюм?

Знаменательно как для великолепно-повелительной манеры Безила, так и для врожденного комплекса виновности Эмброуза было

то, что, лишь перерядившись священником, Эмброуз спросил:

– Но что я такого сделал? За что меня хотят взять?

– За ваш журнал. Его закрывают и вылавливают всех, кто с ним связан.

Эмброуз не стал вдаваться в подробности. Он смирился с фактом, как попрошайка смиряется с неизменным «пройдите». Это было нечто неотъемлемое от его положения – прирожденное право художника.

– Как вы узнали?

– В военном министерстве.

– Что же теперь будет со всем этим? – беспомощно спросил Эмброуз. – С квартирой, с мебелью, с книгами, с миссис Карвер?

– Слушайте, что я вам скажу. Если вы не возражаете, я перееду к вам и сохраню все до той поры, когда вам можно будет вернуться – Это правда, Безил? – сказал растроганный Эмброуз. – Вы так добры С некоторых пор Безил чувствовал себя несправедливо ущемленным в своих подкатываниях к Сюзи, ведь он жил у матери. Возможность такого выхода еще не приходила ему в голову. Это было наитие свыше, мгновенный и примерный акт справедливости, какие так не часто выпадают нам в жизни. Добродетель вознаграждалась сверх всяких его ожиданий, если и не сверх заслуг.

– Колонка, пожалуй, будет доставлять вам неприятности, – сказал Эмброуз, оправдываясь. – До Юстонгкого вокзала было рукой подать. На сборы ушло четверть часа.

– Но помилуйте, Безил, должен же я взять с собой хоть какую-то одежду.

– Вы ирландский священник. Что, вы думаете, скажут таможенники, когда откроют полный чемодан галстуков от Шарве и крепдешиновых пижам?

Эмброузу было дозволено взять с собой лишь маленький чемоданчик.

– Я вам все сохраню, – сказал Безил, производя смотр поистине восточному изобилию дорогого нижнего белья, которым были набиты многочисленные комоды и стенные шкафы. – Сами понимаете, вам придется идти до вокзала пешком.

– О господи, почему?

– За такси могут следить. Вы не в том положении, чтобы рисковать.

Чемоданчик казался маленьким, когда Безил выбрал его среди чересчур щеголеватых вместилищ в кладовке Эмброуза, решив, что для священника он будет как раз впору; он казался огромным, когда они тащились с ним в северный район города по темным улицам Блумсбери. Наконец они достигли классических колонн вокзала. Не шибко веселый и в лучшие-то времена, способный оледенить сердце и самого прыткого отпускника, теперь, в военное время, перед холодным весенним рассветом вокзал казался входом в могилу.

– Тут я вас покидаю, – сказал Безил. – Схоронитесь гденибудь, пока не подадут состав. Если кто заговорит с вами – читайте молитву и перебирайте четки.

– У меня нет четок.

– Тогда размышляйте. Уйдите в себя. Только не открывайте рта, не то вам кранты.

– Я напишу вам из Ирландии.

– Лучше не надо, – жизнерадостно ответил Безил. Он повернулся и тотчас растаял во мраке. Эмброуз вошел в здание вокзала. Несколько солдат спали на скамьях, в окружении вещевых мешков и снаряжения. Эмброуз нашел угол, еще темнее окружающей тьмы. Здесь, на упаковочном ящике, в котором, судя по запаху, перевозилась рыба, он дожидался рассвета в надвинутой на глаза черной шляпе и черном пальто, туго запахнутом на коленях, – мрачная фигура с широко раскрытыми черными глазами, устремленными в черноту. На панель из рыбного груза под ним медленно сочилась вода, образуя лужицу, как от слез.

Рэмпоул был не холостяк, как полагали многие его одноклубники, а вдовец с долгим стажем. Он жил в небольшом, но солидном доме в Хэмпстеде и держал в услужении старую деву – дочь. В то роковое утро дочь вышла проводить его до калитки, ровно в восемь сорок пять, как было у нее за обычаем уже бесчисленное множество лет. Рэмпоул остановился на мощенной каменными плитами дорожке и обратил внимание дочери на почки, которые лопались, куда ни глянь, в его маленьком садике.

Смотри на них хорошенько, старина, листьев тебе не видать.

– Я вернусь в шесть, – сказал он.

Какая самонадеянность, Рэмпоул, кто может сказать, что принесет день? Этого не скажет ни твоя дочь, – не растроганная разлукой, она вернулась в столовую и съела еще кусочек тоста, – ни ты сам, поспешающий к станции метро «Хэмпстед».

Он предъявил служащему у эскалатора сезонный билет.

– Послезавтра мне надо возобновить его, – любезно сказал он и завязал узелок на кончике большого белого платка, чтобы не забыть.

Без нужды тебе этот узелок, старина, тебе уже никогда больше не ездить на метро со станции «Хэмпстед».

Он раскрыл утреннюю газету, как он делал пять дней в неделю бесчисленное множество лет. Он обратился сперва к Смертям, потом к отделу писем, потом, с неохотой, к новостям дня.

В последний раз, старина, в последний раз.

Полицейский налет на министерство информации, как и множество других аналогичных мероприятий, ничего не дал. Первоначально людям в штатском с величайшим трудом удалось прорваться через проходную.

– Мистер Силк вас ждет?

– Надеемся, нет.

– Тогда я не могу вас пропустить.

Когда наконец их личности были установлены и им разрешили пройти, произошел смутительный эпизод в отделе религии, где они застали одного только протестантского священника, какового, не разобравшись в горячах, и поспешили взять в наручники. Им объяснили, что Эмброуз по неизвестной причине на службу не явился. Двух полицейских оставили его дожидаться. Они весь день сидели на месте, разливая мрак по всему отделу. А люди в штатском проследовали в комнату Бентли, где их встретили с величайшим чистосердечием и обаянием.

Мистер Бентли отвечал на все вопросы так, как и подобает добропорядочному гражданину. Да, он знал Эмброуза Силка и как коллегу по министерству и в последнее время как одного из авторов издательства. Нет, последние дни он почти не притрагивался к издательским делам – был слишком занят всем этим (объясняющий жест, охвативший подтекающий кран, бюсты работы Ноллекенса и испещренный завитушками лист бумаги у телефона). Дела

издательства вел исключительно мистер Рэмпоул. Да, кажется, он что-то слышал о каком-то журнале, который начал издавать Силк. «Башня из слоновой кости»? Он так называется? Вполне возможно. Нет, у него нет экземпляра. Разве он уже вышел? У него было такое впечатление, что журнал еще не готов. Авторы? Гелькбери Пасквилл? Почечуй-Трава? Том Абрахам-Уиперли-Кости? Эти имена он где-то слышал. Вполне возможно, встречался раньше с этими людьми в литературных кругах. У него осталось впечатление, что Абрахам-Уиперли-Кости несколько ниже среднего роста, полный, лысый, – да, да, он совершенно уверен, голова голая, как коленка, – заикается и подволакивает ногу при ходьбе. Гекльбери Пасквилл очень высокий молодой человек, и опознать его очень легко: у него нет мочки левого уха, потерял при чрезвычайных обстоятельствах, когда плывал матросом на торговом судне. Еще у него не хватает переднего зуба, и он носит золотые серьги.

Люди в штатском стенографировали все эти подробности. Таких свидетелей они любили, обстоятельных, точных, уверенных.

Когда дошло до Почечуй-Травы, Бентли иссяк. Этого человека он никогда не видел. Скорее всего это псевдоним какой-то женщины.

– Благодарим вас, мистер Бентли, – сказал главный из людей в штатском.

– Думаю, что мы вас больше не потревожим. Если вы нам понадобится, я надеюсь, мы всегда сможем найти вас здесь.

– О да, конечно, – любезно отвечал Бентли. – Иногда я образно называю этот стол своей каторгой. Я всегда здесь торчу. В крутенькие времена мы живем, инспектор.

Отряд полицейских наведлся на квартиру Эмброуза, но добыл там лишь то, что могла рассказать его экономка.

– Объект сбежал, – вернувшись, доложили полицейские своим начальникам.

В тот же день под вечер полковник Плам, Безил и полицейский инспектор были призваны к начальнику управления внутренней безопасности.

– Мне не с чем вас поздравить, – сказал он. – Дело велось безобразно. Я не в претензии ни к вам, инспектор, ни к вам, Сил. – Он с отвращением посмотрел на полковника Плама. – Мы явно напали на

след очень опасной группы, а вы выпустили из рук четырех из пяти. Не сомневаюсь, что сейчас они сидят в немецкой подводной лодке и смеются над нами.

– Мы поймали Рэмпоула, сэр, – сказал полковник Плам. – Я склонен думать, что он заправила.

– Я склонен думать, что он старый болван.

– Он ведет себя крайне враждебно и вызывающе. Отказывается сообщать какие бы то ни было данные о своих пособниках.

– В одного из наших людей он швырнул телефонную книгу, – а сказал полицейский инспектор, – и допустил по отношению к ним такие выражения, как «простофили», «чинуши»...

– Да, да, я читал отчет. Рэмпоул, очевидно, человек несдержанный и чрезвычайно неразумный. Посидеть на холодке до конца войны ему не помешает. Но заправила не он. Мне нужен этот Абрахам-Уиперли-Кости, а его и след простыл.

– У нас есть приметы.

– Нужны нам приметы, когда он уже считает что в Германии. Нет, вы заporоли мне всю операцию. Минцстру внутренних дел это очень не понравится. Кто-то проболтался, и я твердо намерен выяснить кто.

Когда собеседование, столь неприятно затянутое, подошло к концу, начальник управления велел Безилу остаться.

– Сил, – сказал он, – как я понимаю, вы первый напали на след этой шайки. Есть у вас какие-нибудь соображения о том, кто их предупредил?

– Вы ставите меня в очень затруднительное положение, сэр.

– Ну полно, полно, мой мальчик, чего уж тут щепетильничать, когда родина в опасности.

– Видите ли, сэр, у меня давно создалось впечатление, что у нас в отделе слишком сильно женское влияние. Вы видели секретаршу полковника Плама?

– Что? Штучка с ручкой?

– Если угодно, можно назвать ее и так, сэр.

– Вражеский агент?

– О нет, сэр. Вы только взгляните на нее. Начальник велел прислать к нему Сюзи. Когда она ушла, он сказал:

– Нет, не вражеский агент.

– Конечно, нет, сэр. Но фривольна, болтлива... Подруга полковника Плама...

– Да, я вас понял. Вы очень правильно сделали, что сказали мне.

– Чего ему надо? Вызвал меня так просто и уставился? – спросила Сюзи.

– Мне кажется, я устроил вам повышение.

– О-оо. Как это мило с вашей стороны.

– Я перебираюсь на новую квартиру.

– Везет же вам, – сказала Сюзи.

– Мне бы хотелось, чтобы вы пришли и посоветовали насчет обстановки. Я в таких вещах ни в зуб ногой.

– О-оо. Неужели? – сказала Сюзи голосом, перенятым с киноэкрана – А что скажет полковник Плам?

– Полковнику Пламу нечего будет сказать. Вы поднимаетесь высоко над ним.

– О-оо.

Наутро Сюзи получила официальное уведомление, что ее переводят в штат сотрудников начальника управления внутренней безопасности.

– Везет же вам, – сказал Безил.

Она была в восторге от обстановки Эмброуза, за исключением скульптурного изделия Бранкуши. Его убрали с глаз долой в комнату, где хранились чемоданы, В Брикстонской тюрьме Рэмпоул пользовался многочисленными привилегиями, каких не полагалось заурядным уголовникам. В его камеру поставили стол и весьма сносный стул. Ему позволили за свой счет разнообразить тюремный рацион. Ему разрешили курить. Ему каждое утро приносили «Таймс», и впервые в жизни он собрал небольшую библиотечку. Бентли время от времени приносил ему бумаги на подпись. При аналогичных обстоятельствах в любой другой стране ему пришлось бы куда хуже.

Но Рэмпоул не был доволен.

В соседней камере сидел противный юнец, который каждый раз, когда они встречались на прогулке, говорил ему: «Хайль Мосли!» – а ночью выстукивал азбукой Морзе ободряющие сообщения.

Рэмпоул тосковал по своему клубу и дому в Хэмпстеде. Несмотря на множество поблажек, он ждал лета без особого энтузиазма.

В тихой зеленой долине, где через тщательно ухоженные, рыхлые, как губка, пастбища бежит ручей, а травяной покров уходит под кромку воды и сливается с водяными растениями; где дорога бежит между травяных рубежей и обвалившихся стен, а трава переходит в мох, который выплескивает наверх, на обвалившиеся камни стен, переплескивает через них и растекается по щербатой щебеночной дороге и глубоким колеям; где развалины полицейской казармы, выстроенной, чтобы держать под контролем дорогу через долину, и сожженной во время смуты, некогда белели, потом почернели, а теперь зеленеют в один цвет с травой, мхом и водяными растениями; где торфяной дым из труб хижин оседает вниз и смешивается с туманной мглой, поднимающейся от сырой зеленеющей земли; где следы ослов, свиней и гусей, телят и лошадей безразлично переплетаются со следами босоногих детишек; где мелодичные, негодующие голоса из продымленных хижин сливаются с музыкой ручья и топчущего, жующего скота на пастбищах; где дым и туман никогда не поднимаются, лучи солнца никогда не падают отвесно, а вечер наступает медленно, постепенно густея тенями; куда священник приходит редко, так скверна тут дорога и так долог и труден обратный подъем к вершине долины, а кроме священника во весь месяц не приходит никто, — здесь, в этой глуши, стояла гостиница, куда в былые дни заходили рыбаки. В летние ночи, когда кончался клев, они подолгу просиживали тут, потягивая виски и покуривая трубки, — присяжные джентльмены из Дублина и отставные военные из Англии. Никто не ловил теперь рыбу в ручье, а та форель, что в нем еще уцелела, вылавливалась хитроумными и незаконными способами, невзирая на сезон и права собственности. Никто не останавливался в гостинице; иной раз, правда, гуляющая парочка или компания автомобилистов задерживались там с намерением поужинать, но затем, посоветовавшись между собой и принеся извинения, путники двигались дальше до ближайшей деревни. Сюда-то и прикатил Эмброуз на ирландской двуколке со станции в шести милях за холмом.

Он сбросил с себя наряд священника, но было в его печальном виде и правильности речи что-то такое, отчего хозяин гостиницы, никогда раньше не видевший еврея-интеллигента, считал его за

«падшего священника». Эмброуз узнал об этой гостинице от одного говорливого пассажира на пакетботе; хозяин приходился каким-то дальним родственником его жене, и хотя сам он никогда там не бывал, тем не менее не упускал случая расписать прелести этого места.

Здесь Эмброуз поселился, в единственной спальне с невыбитыми окнами.

Здесь он хотел писать книгу, собирать осколки своей разбитой художественной жизни. Он расстелил на обеденном столе большущий лист бумаги, и влажный, промозглый воздух прильнул к ней, и пропитал ее, так что, когда на третий день он хотел сделать почин, чернила поплыли и строчки слились, и что-то вроде мазка синей краской осталось на том месте, где следовало быть предложению в прозе. Эмброуз положил ручку, и, поскольку пол был с наклоном в ту сторону, на которую оседал дом, ручка покатила по столу, по половицам и закатилась под комод красного дерева, да так и осталась лежать там среди колец для салфеток, мелких монет, пробок и мусора, накопившегося за полстолетия. А Эмброуз вышел из дома и пошел бродить в сумеречной, туманной мгле, неслышно ступая по мягкой зеленой траве.

Безил в Лондоне засадил Сюзи за работу. Ей хотелось развлекаться по вечерам слишком часто и слишком отяжелительно для кармана. Он засадил ее за работу с иглой, ножницами и шелком для вышивания; она спарывала с крепдешинового подштанников Эмброуза монограммы с буквой «А» и заменяла их буквой «Б».

VI

Подобно лошадям в манеже, – в хвост друг другу на ориентир, перемена поводьев, по кругу на ориентир на противоположной стене, снова перемена поводьев, снова в хвост друг другу – самолеты кружили в режущем солнечном свете. Гудели в утреннем небе моторы, высыпались маленькие черные бомбы, перевертывались в воздухе, уваливаясь следом за самолетами, и взрывались бесшумными выбросами камня и пыли, которые уже начинали оседать, когда звук разрывов потрясал склон холма, на котором Седрик Лин пытался определить в бинокль место падения.

Примет весны нигде не было видно в этой стране. Земля повсюду была мертвая и замерзшая, глубокий снег на холмах, тонкий лед в долинах; почки на терновнике были твердые, маленькие и черные.

– Кажется, они обнаружили первую роту, полковник, – сказал Седрик.

Штаб батальона помещался в пещере на склоне холма – неглубокой пещере, образованной большой скалой, сдерживающей скопления камней помельче, которые из года в год скатывались сверху и располагались вокруг. Тут было как раз место для полковника, начальника штаба и Седрика; они прибыли ночью и наблюдали рассвет над холмами. Прямо под ними уходила в глубь страны дорога, поднимаясь на высоты напротив рядом туннелей и колец серпентины. У их ног, между пещерой и кручей впереди, лежала замерзшая, ровная местность. Там была спрятана резервная рота. Яму небольшим сжатым обводом прикрывал штабной взвод. В двадцати ярдах, под другой скалой, лежали двое связистов с рацией.

– Анна, Бомба, Чарли, Дот... Лулу, я Коко. Подтверди Получение сигнала. Перехожу на прием. Они шли маршем всю ночь.

Когда они забрались в яму, Седрик обливался горячим потом, а после, в прохватывающей рассветной мгле, – холодным. Сейчас, под потоком солнечных лучей, ему было тепло и сухо и немного клонило в сон.

Противник был где-то за дальними холмами. Предполагалось, что он появится ближе к вечеру.

– Так они и сделают, – сказал полковник. – Атакуют в последний час светлого времени, чтобы избежать контратаки. Ну, на этой-то позиции их можно удерживать сколько угодно. Вот только левый фланг меня беспокоит.

– Туда отходят ломширцы. Пора бы им быть на позиции, – сказал начальник штаба.

– Знаю. Но куда они провалились? Почему не шлют связного?

– Вся эта активность в воздухе по фронту означает, что они придут оттуда, – сказал начальник штаба.

– Будем надеяться.

Бомбардировщики отбомбились, построились клином и с гудением исчезли за холмами. Вскоре появился разведывательный

самолет. Он рыскал по небу из стороны в сторону, разглядывая землю, словно старуха, обронившая монету.

– Прикажете этим дурням пригнуть головы, – сказал полковник.

Когда самолет улетел, он разжег трубку, встал у выхода из пещеры и с беспокойством посмотрел в сторону левого фланга.

– Не видать там ломширцев? – сказал он.

– Никак нет, полковник.

– Противник мог отрезать их вчера вечером, вот чего я опасуюсь. Вы не можете связать меня с бригадой? – спросил он капрала-связиста.

– Бригада не отвечает, сэр. Мы все время пытаемся выйти на связь. Лулу, я Коко. Подтверди получение сигнала. Подтверди получение сигнала. Перехожу на прием.

– Мне очень хочется продвинуть на тот фланг четвертую роту.

– Это за пределами нашего района обороны.

– К черту район.

– Мы останемся без резерва, если они пойдут прямо по дороге.

– Знаю, это-то меня и удерживает.

Прибыл связной с донесением. Полковник прочел его и передал Седрику для подшивки.

– Третья рота на позиции. Это все, о чем докладывают наши передовые роты. Пойдем поглядим, что там у них.

Полковник и Седрик двинулись вперед, оставив начальника штаба в пещере. Они обходили штабы рот, задавая немногочисленные вопросы в порядке несения службы. Схема обороны была простая: три роты по фронту, четвертая, резервная, в тылу. Местность для обороны была подходящая. Если только у противника нет танков – а все данные разведки говорили за то, что танков, у него нет, – дорогу можно удерживать до тех пор, пока на кончатся боеприпасы и продовольствие.

– Производили разведку на воду?

– Так точно, полковник. Вон за теми скалами есть хороший источник. Доставляем воду по эстафете.

– Молодцы.

Первую роту бомбили, но обошлось без потерь, если не считать царапин от каменных осколков. Испытание не сломило людей. Сейчас они поспешно рыли ложные траншеи далеко от своих позиций, чтобы

отвести от себя удар, если самолеты появятся снова. Полковник вернулся с обхода довольный: батальон делал все как положено. Лишь бы выдержали фланги, а уж он-то стоит крепко.

– Есть связь с Лулу, сэр, – сказал капрал-связист. Полковник доложил в штаб бригады, что батальон на позиции. Активность в воздухе. Потерь нет. Противник не обнаружен.

– У меня нет соприкосновения на левом фланге... Да, я знаю, что это за пределами бригадного района обороны. Я знаю, что там должны быть ломширцы. Но там ли они? Наши... Да, верно, но фланг совершенно повиснет в воздухе, если они не объявятся...

Был полдень. Позавтракали печеньем и шоколадом; у начальника штаба нашлась бутылка виски. Есть особенно не хотелось, зато они выпили весь запас воды и послали ординарцев наполнить бутылки из источника, который нашла первая рота. Когда ординарцы вернулись, полковник сказал:

– Левый фланг все-таки не дает мне покоя. Лин, пойдите туда, выясните, куда делись эти проклятые ломширцы.

До ближайшего горного прохода, где полагалось держать оборону ломширцам, было две мили по боковой тропе. Седрик оставил своего ординарца в штабе. Это было против правил, но Седрик уже устал от зависимой солдатской массы, которая на протяжении всей операции тяготила и угнетала его. Теперь он шел один и радостно ощущал себя одним цельным человеком – одна пара ног, одна пара глаз, один мозг, – посланным по одному-единственному вразумительному поручению. Один цельный человек может свободно идти куда угодно по земной поверхности. Умножьте его, суньте его в стадо – и с прибавлением каждого нового ему подобного вы будете вычитать из него нечто ценное, сделаете его на столько-то меньше человеком. Такова сумасшедшая математика войны. В небе появился разведывательный самолет. Седрик сошел с тропы, но не бросился искать укрытие, не ткнулся лицом в землю, гадая о том, есть ли в самолете хвостовой стрелок, как сделал бы, будь он при штабе. Мощное оружие современной войны не принимает в расчет одиночные жизни; только целое отделение может быть стоящей целью для очереди из пулемета, а бомбу стоит бросать только на взвод или грузовик. Никто ничего не имеет против единичной личности. Пока он один, он свободен и в безопасности. Опасна множественность. Разделенные, мы

выдерживаем, объединившись, погибаем. Так думал Седрик, с легким сердцем шагая прямо на врага, отряхнув с ног своих все разочарования стадной жизни. И, сам того не ведая, он думал в точности так, как думал Эмброуз, бросая, клич: «Культура должна перестать быть монастырской и должна стать келейной».

Он добрался до того места, где следовало находиться ломширцам. Их нигде не было видно. И ни малейшего признака жизни не было видно нигде, только скалы и лед вокруг, а вдаль, на холмах, снег. Долина убегала прямо в холмы параллельно шоссе, от которого он удалился. Возможно, они удерживают ее выше, там, где она сужается, подумал он и пошел каменистой тропой по направлению к горам.

Там он их и нашел – двадцать солдат под командованием младшего офицера. Они установили орудия с таким расчетом, чтобы держать под обстрелом тропу в наиболее узкой части, и лежали теперь, ожидая, что принесет вечер. Люди были вымотаны и оборваны.

– Простите, что не послал к вам связного, – сказал офицер. – Мы вконец дошли. Я не знал точно, где вы находитесь, да и лишних людей у меня нет.

– Что произошло?

– Это была какая-то глупистика, – ответил младший офицер, впадая в традиционный жаргон своей профессии, имеющий обозначения для всех видов человеческой трагедии. – Они бомбили нас вчера весь день, и нам пришлось залечь. В перерывах между налетами мы проходили милю-две, только это было горе, а не продвижение. Потом, перед самым закатом, они поехали прямо по нас в броневиках. Мне с этой группой удалось выскочить. Может, где-нибудь поблизости бродят еще какие-нибудь одиночки, хотя я сильно в этом сомневаюсь. К счастью, фрицы решили на этом пошашить и устроить себе ночной отдых. Мы шли маршем всю ночь и весь день. Только час назад стали на позицию.

– Вы сможете их здесь остановить?

– А вы как думаете?

– Нет.

– Нет, остановить их здесь мы не сможем, разве только задержать на полчаса. Они могут принять нас за передовое охранение батальона

и отложить атаку на завтра. А вы сможете прислать подкрепление, как по-вашему?

– Да. Я сейчас же иду обратно.

– Передышка нам не помешала бы, – сказал офицер. Большую часть обратного пути Седрик бежал. Полковник с мрачным видом слушал его отчет.

– Бронеавтомобили или танки?

– Бронеавтомобили.

– Ну что ж, рискнем. Перебрасывайте туда четвертую роту, – сказал он начальнику штаба, а затем доложил по радио в штаб бригады об услышанном и принятых мерах. Четвертая рота выступила через полчаса. Из пещеры было видно, как солдаты шагают по тропе, которой Седрик шел так живо и весело. Неожиданно, пройдя всего только милю, колонна остановилась, расчленилась и стала разворачиваться в боевой порядок.

– Опоздали, – сказал полковник. – Вон бронеавтомобили.

Они смяли уцелевших ломширпев и теперь веерообразно разъезжались по дну долины. Седрик насчитал их двадцать штук; за ними показался нескончаемый поток грузовиков с солдатами. При первом же выстреле грузовики остановились, и под прикрытием бронеавтомобилей пехота повыскакивала из кузовов на землю и с парадной методичностью пошла вперед расчлененными цепями. Вместе с бронеавтомобилями появилась эскадрилья бомбардировщиков. Они летели на бреющем полете вдоль тропы, и вскоре по всему батальонному району обороны загрохотали разрывы.

Полковник отдавал приказ о немедленном отводе рот, занимавших позиции по фронту.

Седрик стоял в пещере. Странное дело, думал он, ему пришлось так много заниматься пещерами на своем веку.

– Лин, – сказал полковник, – доберитесь до первой роты и объясните, что происходит. Если они сейчас ударят с тыла, броневидам придется отойти, и другие роты смогут выскочить.

И вот Седрик отправился через маленькое поле битвы. Все происходящее по-прежнему казалось ему совершенно нереальным.

Бомбардировщики сбрасывали бомбы не прицельно, сплошную обрабатывая землю перед фронтом своих бронеавтомобилей, между батальонным штабом и входом в долину, где окопалась первая рота.

Хотя грохот разрывов непрерывно сотрясал воздух, он по-прежнему казался Седрику каким-то нереальным. Он был частью того сумасшедшего мира, в котором ему, Седрику, с самого начала не было места. Грохот этот не имел к нему никакого отношения. Он услышал у себя над головой свист бомбы, казалось, она падала прямо на него. Он бросился ничком на землю, и она взорвалась в пятидесяти ярдах, обдав его градом мелких камней.

– Кажется, накрыли, – сказал полковник. – Нет, поднялся.

– Он молодцом, – сказал начальник штаба.

Бронеавтомобили вступили в огневой бой с четвертой ротой. Немецкая пехота, вытянувшись в длинную цепь от склона до склона, продолжала подступать все ближе и ближе. Немцы еще не открывали огня, а лишь тяжело шагали цепью за бронеавтомобилями, на расстоянии вытянутой руки друг от друга. За ними вырастала новая волна. Седрику предстояло пройти сквозь этот фронт. Он находился еще вне зоны эффективного ружейного огня противника, но пули на излете уже свистели в скалах вокруг.

– Ему не добраться, – сказал полковник.

Наверное, я веду себя довольно смело, думал Седрик. Как странно. Ведь на самом-то деле я совсем не смелый. Просто все это такая дикая глупость.

Первая рота уже пришла в движение. Как только там слышали стрельбу, рота, не дожидаясь приказа, сделала именно то, чего хотел полковник. Медленно продвигаясь между валунами вверх по склону противоположного холма, она занимала позиции с тем, чтобы выйти во фланг противнику, вышедшему во фланг батальона. Теперь уже неважно было, доберется до нее Седрик или нет. Он до нее не добрался. Пуля сразила его, убила наповал, когда он был в четверти мили от цели.

ЭПИЛОГ

Настало лето, а с ним стремительная череда исторических событий, которым ужаснулся и отказывался верить весь мир – точнее говоря, весь, за исключением Джозефа Мейнуэринга, чей изысканно-тяжелый телесный состав укрывал в себе легковеснейшую душу, глубочайшее, непрошибаемое легкомыслие, позволявшее ему безмятежно попрыгивать вверх и вниз на огромных валах истории, разбивавших в щепу более основательные натуры. При новой администрации он оказался перемещенным в такую сферу общественной жизни, где никому не мог причинить серьезного вреда, и эту перемену он воспринял как вполне заслуженное повышение. В мрачные часы немецкой победы у него всегда был наготове какой-нибудь светлый анекдот; он принимал на веру и повторял все, что слышал; теперь он рассказывал, причем все сведения у него были из самых авторитетных источников, что в немецкую пехоту набираются исключительно мальчишки и что перед боем их одурманивают опасными наркотиками; «Те, кого не скосит пулеметной очередью, умирают через неделю», – говаривал он. Живо, словно он сам был тому свидетелем, он рассказывал о небе Голландии, затмившемся от прыгающих с парашютом монашек, о рыночных торговках, которые «снимают» английских офицеров, стреляя поверх лотков из пулеметов, об официантках, которых ловили на крышах отелей в тот момент, когда они отмечали комнаты генералов крестами, как отпускник помечает свою комнату на открытке с видом пансиона. Еще долго после того, как в более ответственных кругах расстались со всякой надеждой, он продолжал верить в незыблемость линии Мажино. «Там такой маленький выступ, – говаривал он. – Нам надо только отщипнуть его», – и показывал большим и указательным пальцем, как это делается. Он изо дня в день уверял, что враг исчерпал все ресурсы и теперь заманивается все дальше и дальше на собственную погибель. В конце концов, когда даже для сэра Джозефа стало очевидно, что на протяжении нескольких дней Англия потеряла все оружие и снаряжение своей регулярной армии, а также своего единственного союзника; что враг находится менее чем в двадцати

пяти милях от ее берегов; что в стране имеется лишь несколько батальонов полностью вооруженных, полностью обученных войск; что она связала себе руки войной на Средиземном море с численно превосходящим противником; что ее города лежат беззащитны перед воздушным нападением с аэродромов более близких, чем оконечности ее собственных островов; что враг угрожает ее морским путям более чем с десятка новых баз, – в конце концов сэр Джозеф сказал: «Если рассматривать все в должной перспективе, я полагаю, что мы добились большого, осязаемого успеха. Германия вознамерилась уничтожить нашу армию, и ей это не удалось. Мы продемонстрировали миру нашу непобедимость. Больше того, теперь, когда французы сошли со сцены, устранено последнее препятствие к подлинному взаимопониманию с Италией. Я никогда не пророчествую, но я уверен, что еще до конца года итальянцы заключат с нами долгосрочный сепаратный договор. Силы немцев истощены. Им теперь ни за что не оправиться от потерь. Они растранили цвет своей армии. Они расширили свои границы сверх разумных пределов и захватили такую территорию, что им не по силам ее удержать. Война вступила в новую, еще более славную фазу».

И в этой своей последней фразе, быть может впервые за всю долгую говорливую жизнь, сэр Джозеф приблизился к реальности: он попал не в бровь, а в глаз.

Новая, еще более славная фаза...

Батальон, в котором служил Аластэр, за ночь был превращен из части на начальной стадии обучения в часть первого эшелона. Они получили материальную часть по форме 1098 – партию разнообразнейшего скобяного товара, которая, к гордости Аластэра, включала и его миномет. За эту гордость, однако, приходилось платить. Теперь Аластэр был крутом обвешан сумками с минами, а на спине таскал противостоестественно тяжелую стальную трубку, и на марше стрелки имели все основание торжествовать над ним.

Служба обнаружения парашютных десантов работала круглосуточно. Дежурная рота спала не разуваясь и поднималась в ружье на рассвете и в сумерках. Солдаты выходили из лагеря с заряженной винтовкой, в каске и с противогазом. Отпуска на конец недели как отрубил. Капитан Мейфилд стал проявлять повышенный

интерес к лохани для помоев; если обнаружится излишек отбросов, сказал он, пайки будут урезаны. Командир части сказал: «Рабочие часы? Такой штуки теперь не существует» – и в пояснение сказанного прописал муштру после чая. Была составлена памятка «Как обучать солдат», оказавшая необычайное воздействие на Смолвуда: теперь, когда взвод, измотанный, возвращался с полевых учений, Смолвуд назначал еще двадцать минут отработки приемов с оружием, прежде чем отпустить людей на отдых. Так проявлялась необходимость «поднажать еще чуток», о которой взывала памятка. Солдаты в этой связи говорили: «...над нами».

Затем, совершенно неожиданно, батальон получил приказ отбыть в неизвестном направлении. Все поняли это так, что их отправляют за границу, и возрадовались великим ликованием. Аластэр и Соня свиделись у караулки.

– Сегодня вечером я не смогу выйти. Нас перебрасывают. Не знаю куда. Похоже, скоро будем в деле.

Он сказал Соне, где ей лучше устроиться и чем заняться в его отсутствие. Они уже знали, что она ждет ребенка.

Было отдано особое распоряжение, чтобы никто не провожал солдат на станцию, хотя, в сущности говоря, никто не должен был и знать, что они отъезжают. Чтобы обеспечить полную секретность, они грузились на поезд ночью, всколыхнув всю округу топотом ног и ревом грузовиков, перевозивших военное имущество на станцию.

Солдатам в поезде свойственно создавать впечатление крайней разнузданности. Они покидают лагерь щеголеватыми, как на параде. Проходят по платформе церемониальным маршем, словно по казарменному плацу. Затем их распределяют по вагонам – и с этого момента начинается процесс трансформации и разложения. Сбрасываются мундиры, вылезают на свет божий омерзительные свертки с едой, окна заволакивают густые облака табачного дыма, пол в несколько минут исчезает под толстым слоем окурков, обрывков бумаги, кусков хлеба и мяса; в минуты отдыха все принимают чрезвычайно непринужденные позы; одни напоминают трупы, слишком долго пролежавшие неубранными, другие уцелевших участников разгула в духе античных сатурналий. Аластэр большую часть ночи простоял в проходе, впервые за все время испытывая ощущение полной оторванности от прежней жизни.

Перед рассветом, в силу непостижимо темного, как джунгли, процесса распространения новостей среди простых солдат, всем стало известно, что им предстоит не бой, а служба «в береговой обороне, ... ее в душу».

Поезд шел как ходят воинские поезда – припадочными рывками между долгими стоянками. Наконец в разгар утра они прибыли к месту назначения и прошли маршем через небольшой приморский городок, мимо оштукатуренных пансионатов с полукруглыми фасадами в ранневикторианском стиле, эстрады для оркестра эпохи Эдуарда VII и бетонного бассейна в новейшем стиле, в три фута глубиной, с синевой на дне, призванном оберегать детей от приключений и романтики взморья. (Здесь не было ни раковин, ни морских звезд, ни медуз, которые истаивают на песке, ни гладких стеклянных камешков, ни бутылок, в которых могут быть запечатаны письма потерпевших кораблекрушение моряков, ни больших волн, которые вдруг сбивают тебя с ног. Зато няньки могли с абсолютно спокойной душой сидеть вокруг этого прудка). Дальше, еще в двух милях за пригородом одноэтажных домов с верандами и обращенных в жилища железнодорожных вагонов, в парке прогоравшего за последние годы летнего клуба для них был подготовлен лагерь.

Вечером Аластэр позвонил Соне; она приехала на следующий день и сняла номер в отеле. Отель был простой и уютный, и Аластэр приходил к ней по вечерам после службы. Они пробовали возродить атмосферу зимы и весны тех дней в Суррее, когда солдатская жизнь Аластэра представлялась им полным новизны и необычности перерывом их домашних будней. Но времена изменились. Война вступила в новую, еще более славную фазу. Та ночь в поезде, когда он думал, что, их бросят в бой, стояла теперь между Аластэром и его прошлым.

Батальону был отведен для обороны прелестный семимильный участок береговой линии, и они с упоением принялись искоренять все удобства приморской полосы. Они забрали песок в колючую проволоку и снесли лестницы, ведущие с эспланады на пляж. Они изрыли стрелковыми ячейками общественные парки, заложили мешками с песком эркеры в частных домах и при содействии соседней саперной части блокировали дороги бетонными надолбами и дотами. Они останавливали и обыскивали все автомашины,

проезжавшие через участок, и изводили местных жителей требованием предъявлять удостоверение личности. Смолвуд семь ночей подряд просидел с заряженным револьвером на площадке для игры в гольф: прошел слух, что там видели вспышки, и он хотел выследить виновника. Капитан Мейфилд открыл, что телеграфные столбы пронумерованы цифрами из гвоздей с латунными шляпками, и счел это делом рук «пятой колонны». А однажды вечером, когда с моря напал туман, капрал, командовавший отделением, в котором служил Аластэр, послал донесение, что видит дымовую завесу противника, и на многие мили окрест от поста к посту разнеслась весть о вражеском вторжении.

– Как я погляжу, тебе не нравится больше военная служба, – сказала Соня после трех недель береговой обороны.

– Не то чтобы не нравится. Мне кажется, я мог бы делать что-то более полезное.

– Но ты же говорил, что твой миномет один из ключевых пунктов всей обороны, милый.

– Это так, – сказал Аластэр из чувства долга.

– Так в чем же дело? И тут Аластэр сказал:

– Сонечка, будет очень паршиво с моей стороны, если я попрошусь на особую службу?

– А это опасно?

– Ну, не так чтобы очень. Зато страшно увлекательно. Сейчас набирают людей в особые рейдерские отряды. Они высаживаются с моря во Франции, в темноте подкрадываются к немцам с тыла и режут им плотки.

Он был взволнован. Он перевертывал новую, страницу в своей жизни, подобно тому как более двадцати лет назад, лежа на животе перед камином с переплетенной подшивкой «Чамз», открывал первую страницу следующего выпуска.

– Выбрал же ты время бросить женщину, – ответила она. – Но я понимаю, тебе хочется.

– У них особые ножи, пистолет-пулеметы и кастеты. И обувь с веревочными подошвами, – Господи помилуй, – сказала Соня.

– Я узнал об этом от Питера Пастмастера. У них в полку один офицер собирает такой отряд. Питер уже сколотил группу. Он говорит, я могу быть у него командиром отделения. Очевидно, они смогут

устроить мне офицерское звание. Вокруг пояса у них веревочные лестницы, а в швы мундиров они зашивают напильники на случай побега. Ты не будешь очень уж против, если я соглашусь?

– Нет, милый. От веревочной лестницы мне тебя не удержать. Только не от веревочной лестницы. Я понимаю.

Анджела никогда не думала о том, что Седрик может погибнуть. Она узнала о его смерти из официальной телеграммы и несколько дней не хотела говорить об этом ни с кем, даже с Безилом, а когда заговорила, начала не с начала и не с конца, а как бы продолжая начатую мысль.

– Я знала, что нам нужна чья-то смерть, – сказала она. – Только я никогда не думала, что это будет он.

– Ты хочешь выйти за меня замуж? – спросил Безил.

– Пожалуй, да. Ни ты, ни я не смогли бы связать свою жизнь с кем-нибудь еще.

– Это так.

– Тебе хотелось бы быть богатым, так ведь?

– А будет ли вообще кто-нибудь богатым после этой войны?

– Уж если кто и будет, то я безусловно. А если никто, тогда, мне кажется, не такая уж беда быть бедным.

– Я сам не знаю, хочу ли я быть богатым, – сказал Безил, подумав.

– Ты знаешь, я не жаден до денег. Мне нравится лишь добывать их, а не иметь.

– Во всяком случае, это неважно. Главное, мы теперь неразлучны.

– Пусть нас соединит только смерть. Ты всегда думала, что это я должен умереть, так ведь?

– Так.

– Укушенный остался жив, собака околела... Ну что ж, во всяком случае, сейчас не время думать о женитьбе. Посмотри на Питера. Не прошло и полутора месяцев, как он женился, а он уже записался в отряд сорвиголов. Какой смысл жениться, когда жизнь, вон она какая? Я не вижу толку в женитьбе, если нет надежды на покойную старость впереди.

– В военное время плавное – не думать о будущем. Будто идешь по затемненной улице с затемненным фонариком. Видишь перед собой только на шаг.

– Я ведь буду ужасным мужем.

– Да, милый, разве я не знаю? Но, видишь ли, в нынешние времена ни от чего нельзя требовать совершенства. В прежние времена, если что-нибудь одно было не так, то уж казалось, все пропало. Ну, а теперь до конца наших дней будет иначе: если хоть что-нибудь одно так, как надо, то и славу богу.

– Это очень напоминает беднягу Эмброуза в его китайском настроении.

Бедняга Эмброуз переехал на запад. Лишь кишащая ширь Атлантики отделяла его теперь от Парснипа. Он снял комнаты в небольшом рыбацком городке, и огромные морские валы бились о скалы под самыми его окнами. День проходил за днем, а он абсолютно ничего не делал. Падение Франции не встретило почти никакого отклика на этом отдаленном берегу.

Вот страна Свифта, Бэрка, Шеридана, Веллингтона, Уайльда, Т. Э. Лоуренса, думал он. Вот народ, некогда давший начало великой имперской расе, чей гений ярко блистал на протяжении двух поразительных столетий успехов и расцвета культуры; теперь он тихо затворяется в своих туманах и отворачивается от мира, девиз которого – борьба и действие. Блаженные островитяне, думал Эмброуз, благодушные, неинтересные эскеписты, которые насмотрелись на золотые позументы и блеск свечей и уходят с пира до того, как в бледном свете зари станет видна запятнанная скатерть и лицо подвыпившего шута!

Он знал, что это не по нем; глухой кочевнический инстинкт в крови, вековое наследие бродяжничества и созерцательности не давали покоя. И ему представлялись не буруны Атлантики, а верблюды, возмущенно трясущие головами на светлеющем небе, когда караван паломников просыпается для нового дневного перехода.

Старый Рэмпоул сидел в своей комфортабельной камере и повертывал книгу к свету, ловя последние отблески угасающего дня. Он был сосредоточен и восхищен. В возрасте, когда люди в большинстве своем стремятся сохранить старые, привычные радости, а не искать новых, – точнее говоря, в возрасте шестидесяти двух лет, – он вдруг открыл для себя прелести развлекательной литературы.

В авторских списках их фирмы числилась женщина, за которую Бентли всегда было немножко стыдно. Свои книги она подписывала «Рут Маунт Дрэгон»; это был псевдоним, под которым скрывалась некая миссис Паркер. Вот уже семнадцать лет подряд миссис Паркер каждый год выпускала роман о домашних перипетиях какой-нибудь семьи, каждый раз новой, вернее сказать, новой лишь по фамилии, так как при всех мелких различиях в композиции и фабуле, по существу, эти семьи ничем не отличались одна от другой. Однако все книги миссис Паркер были отмечены печатью «обаяния». То это было повествование о трех дочерях полковника, живущих в стесненных обстоятельствах на птицеводческой ферме, то повествование о многообильном семействе, совершающем круиз по Адриатике, то рассказ о докторе-молодожене из Хэмпстеда. Все комбинации и ситуации, могущие встретиться в жизни верхней прослойки среднего класса, методически эксплуатировались миссис Паркер на протяжении семнадцати лет, но «обаяние» оставалось неизменным. Круг ее читателей был не особенно широк, но основателен; что касается, литературного вкуса, его составляли люди, ушедшие от тех, кому просто нравится процесс чтения, но отнюдь не приставшие к тем, кто любит одни книги и не любит других. Рэмпоул знал миссис Паркер за автора, чье творчество было не вовсе опустошительно для его кармана, а потому, когда новый образ жизни и созерцательные тенденции, которым он способствовал, побудили его взяться за чтение романов, он начал с нее и сразу же перенесся в неведомый ему мир совершенно очаровательных, достойных уважения людей, про которых он имел все основания думать, что таких не существует в природе. С каждой новой страницей все более глубокое удовлетворение сходило на старого издателя. Он уже прочел десять книг и жадно предвкушал удовольствие, с каким перечтет их, когда доберется до конца семнадцатой. Бентли даже пришлось дать обещание привести к нему миссис Паркер в неопределенном будущем. Тюремный священник также был почитателем ее таланта, и акции Рэмпоула сильно повысились, когда он раскрыл ее псевдоним. Он даже почти обещал священнику, что познакомит его с ней, и не мог упомнить, чтобы когда-нибудь еще был так счастлив.

Питер Пастмастер и смехотворно молодой полковник нового рода войск составляли в Брэттс-клубе список подходящих офицеров.

– Похоже, большую часть времени на войне приходится лоботрясничать, – сказал Питер. – Так, по крайней мере, будем лоботрясничать с друзьями.

– Я получил письмо от человека, который утверждает, что он ваш друг. Некто Безил Сил.

– Он тоже хочет к нам?

– Да. Он подойдет?

– Вполне, – ответил Питер. – Серьезная личность.

– Ладно. Запишу его вместе с Аластэром Трампингтоном, будет у вас вторым младшим офицером.

– Ой, бога ради, не надо. Сделайте его офицером связи.

– Вот видишь, я все о тебе знаю, – сказала Анджела.

– Ты не знаешь одного, – отвечал Безил. – Если ты действительно хочешь еще раз остаться вдовой, тогда нам лучше поторопиться с женитьбой. Я, кажется, тебе еще не говорил, что меняю лавочку.

– Что такое?

– Это совершенно секретно.

– Но почему?

– Видишь ли, в военном министерстве за последнее время все стало не так, как было. Не знаю почему, полковник Плам разлюбил меня. Похоже, ему обидно, что я так нагрел его на «Башне из слоновой кости». С той поры мы как-то с ним раздружились. Да и, знаешь ли, эта лавочка устраивала меня зимой, когда мы еще по-настоящему и не воевали. Ну, а теперь она мне не подходит. Теперь для мужчины есть только одно серьезное занятие – бить немцев, и, пожалуй, мне это понравится.

– Безил ушел из военного министерства, – сказала леди Сил.

– Вот как, – сказал сэр Джозеф, и сердце его упало. Вот оно опять. Старая история. Пусть новости со всех концов света чрезвычайно отрадны; пусть у нас есть новое мощное секретное оружие – и, бедный болван, он действительно верил в то, что оно у нас есть, – пусть он сам занимает почетный, ответственный пост, – бедный болван шел в тот день обсуждать в салонном кругу, какие

хобби можно рекомендовать служащим подразделений вьючно-гужевого транспорта, – пусть, пусть, пусть, но ему не уйти от Безила, это его беспощадное *memento mori*^[44], и не будет ему с ним покоя. – Вот как, – сказал он.

– Да, так, конечно – Он пошел в особые отборные части, которые сейчас организуют. Им предстоят большие дела.

– Он действительно уже там?

– Ну да.

– И я ничем не могу ему помочь?

– Ах, Джо, дорогой, вы так добры... Нет. Безил все устроил сам. Полагаю, ему очень помогло то, что он так блестяще зарекомендовал себя в военном министерстве. Не всякий молодой человек согласится тянуть ляжку скучной службы в учреждении, когда все ищут дела поувлекательней – взять хотя бы глупую дочку Эммы Гранчестер с ее пожарной командой. И вот теперь он вознагражден по заслугам. Не знаю, что именно они будут делать, но, как мне говорили, что-то очень лихое, и вполне возможно, они окажут решающее влияние на исход войны.

Омрачительный момент был позади. Сэр Джозеф, не перестававший улыбаться во все время разговора, улыбался теперь с искренним удовольствием.

– В воздухе носится что-то новое, – сказал он. – Я вижу это повсюду.

И, бедный болван, на сей раз он был совершенно прав.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

Notes

note 1

Farouche (франц.) - дикий, нелюдимый, не привыкший или не желающий приспособляться к господствующим в обществе условностям. (Здесь и далее примечания переводчика.)

note 2

Manque (франц.) - здесь - несостоявшийся.

note 3

Сигфрид Сассун (род. в 1886 г.) - английский поэт и биограф, участник первой мировой войны.

note 4

Комптон Маккензи (род. в 1883 г.) - английский писатель и разведчик.

note 5

Руперт Брук (1887-1915) - известный английский поэт, участник первой мировой войны. Погиб на фронте.

note 6

Филип Сидней (1554-1586) - английский поэт, придворный и дипломат. Погиб, сражаясь за независимость Нидерландов (в битве при Зютфене был смертельно ранен).

note 7

Джемс Вольф (1727-1759) - английский генерал, одержал победу в битве под Квебеком, круто повернувшей ход войны за отвоевание Канады у французов в пользу англичан, но сам был смертельно ранен.

note 8

Гринлинг Гиббонс (1648-1720) - выдающийся английский скульптор, резчик по дереву и декоратор.

note 9

«С этим надо покончить» (франц.).

note 10

«Победа будет за нами, потому что мы сильнее» (франц.).

note 11

Джон Флакмен (1755-1826) - английский скульптор и график, виднейший представитель классицизма в английском искусстве.

note 12

Старый Билл - обобщенный образ старого солдата, созданный английским художником Бэрнзфадером (род. в 1887 г.) в серии знаменитых карикатур в период первой мировой войны.

note 13

Вернер фон Фрич (1880-1939) - немецкий генерал, в 1934 году был назначен Гитлером на пост верховного главнокомандующего сухопутными силами и играл решающую роль в возрождении вермахта вопреки условиям Версальского мира. В 1938 году был смещен с поста Гитлером, опасавшимся все возрастающей популярности Фрича, и убит при осаде Варшавы в 1939 году.

note 14

Ужасным ребенком (франц.).

note 15

Бульдог Драммонд - герой детективных романов английского писателя Г. С. Макпила (1888-1937), благонамеренный и добропорядочный гражданин, детектив-любитель, раскрывающий множество ужасных преступлений.

note 16

Иллюстрированный журнал, выходивший раз в три месяца с 1894 по 1897 год, в котором сотрудничали Обри Бердсли, Макс Бирбом, Генри Джеймс, Уолтер Пейтер и многие другие известные писатели и художники.

note 17

Ксенофонт, один из крупнейших древнегреческих историков и писателей, был учеником философа Сократа. Уже после смерти Сократа Ксенофонт участвовал в неудачном походе греческих наемников против персидского царя Артаксеркса и стоял во главе греческого войска во время его отступления из глубины Передней Азии к Черному морю. Речь идет о чисто фигуральном участии Сократа в этом походе.

note 18

Беддоуз Томас Ловелл (1803-1849) - английский драматург и поэт.

note 19

Строка из поэмы английского поэта Лэндора Сэвиджа (1775-1864) «Последний плод со старого дерева».

note 20

Клод Ловат Фрейзер (1890-1921) - английский художник, театральный декоратор.

note 21

«In Memoriam» (латин.) - «В память» -лирическая поэма А. Теннисона, опубликованная в 1850 году.

note 22

Уильям Джойнсон-Хикс (1865-1932) - английский юрист и политический деятель, занимавший многие государственные посты, в том числе пост министра внутренних дел в 1924-1929 годах.

note 23

Чарльз Блейк Кокрэн (1872-1951) - известный английский антрепренер.

note 24

Ars longa - часть латинского изречения *Ars longa, vita brevis* - «Искусство долго (вечно), жизнь коротка».

note 25

Одно из двух лондонских обществ адвокатов и здание, где оно помещается.

note 26

Вдвоем (франц.).

note 27

Персонаж романа-трилогии «Конингсби», принадлежащей перу известного английского государственного деятеля второй половины XIX века Бенджамина Дизраэли, прославившегося и на литературном поприще.

note 28

Гипатия из Александрии (370-415) - женщина-философ, математик и астроном, последовательница неоплатонизма, преподавала в Александрийском музее. Ученость и красноречие Гипатии, принимавшей участие в общественных делах города, снискали ей популярность в александрийском обществе и ненависть религиозных фанатиков из христиан. Была растерзана толпой.

note 29

Джозеф Ноллекенс (1737-1823) - английский скульптор, знаменитый своими портретными скульптурами (бюстами). Среди его заказчиков были известнейшие люди его эпохи, в их числе Лоренс Стерн, Вильям Питт, английский король, Георг III, принц Уэльский (впоследствии король Георг IV).

note 30

Prie-dieu (франц.) - скамеечка, на которую становятся коленями при молитве.

note 31

Сара Сиддонс (1755-1831) - выдающаяся английская актриса.

note 32

Скапа-Флоу - английская военно-морская база на Орквейских островах.

note 33

Перифраз строки из стихотворения английского поэта XVI в. Эндрю Марвелла. У автора дословно; «Зеленые думы (мысли) в зеленой сени (тени)».

note 34

«*Quadragesimo Anno*» - по начальным словам: «Год сороковой» - название энциклики, выпущенной папой Пием XI в 1931 году по вопросам труда и социальным проблемам.

note 35

Комиссия Литтона - комиссия, созданная в декабре 1931 года Советом Лиги наций для расследования положения в Маньчжурии, оккупированной Японией.

note 36

Намек на картину Хогарта «Улица Джина», где образно трактуются дурные последствия джина.

note 37

За твои прекрасные глаза (франц.).

note 38

Мыльная Губка - персонаж романов английского писателя Роберта Смита Сэртиса (1803-1864).

note 39

Молли - уменьшительно-ласкательное от Мэри.

note 40

Fin-de-siecle (франц.) - конца века.

note 41

«Панч» - английский еженедельный юмористический журнал (основан в 1841 г.).

note 42

Versus (латин.) - против.

note 43

Laissez-passer (франц.) - пропуск.

note 44

Memento mori (латин.) - здесь - напоминание о смерти.